

L. Akcunob

Сергей Тимофеевич Аксаков

**Очерки и незавершенные  
произведения**  
(Библиотека "Огонек ")

Во второй том собраний сочинений входят воспоминания писателя, а также очерки и незавершенные произведения, такие как «Буран», "Наташа", "Очерк зимнего дня" и др.

*Аксаков С. Т. Собрание сочинений в 5 т.  
М., Правда, 1966; (библиотека «Огонек»)  
Том 2. — 500 с. — с. 395–498.*

# Содержание

БУРАН . . . . .	0004
ОТРЫВОК ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ . . . . .	0021
НАТАША (Очерк помещичьего быта) . . . . .	0031
КОПЫТЬЕВ . . . . .	0124
ОЧЕРК ЗИМНЕГО ДНЯ . . . . .	0137
ПРИМЕЧАНИЯ . . . . .	0144

# БУРАН

## ВСТУПЛЕНИЕ

Я не напечатал бы нижеследующего отрывка, то есть описания оренбургского бурана, если б почтенный критик «Русской беседы» не упомянул о нем в разборе «Семейной хроники и Воспоминаний».[1]

Он даже сделал из этой моей статьи несколько выписок и, основываясь на них, произнес свой приговор. Хотя вообще г. рецензент был слишком благосклонен к моим сочинениям, и по чувству благодарности мне не следовало бы возражать, но в некоторых частностях его рецензии я не могу с ним согласиться. Не могу согласиться, будто Степан Михайлович Багров (в описании его «Доброго дня») «заслоняется несколько описанием природы»; будто читатель «более видит перед собой «Добрый день» Оренбургской губернии, чем «Добрый день» Степана Михайловича, который оттого становится как будто на второй план». Я не говорю о достоинстве этих описаний: всякий судит об этом по своему впечатлению; но мне кажется, что старик Багров на-

столько окружен описанием природы, как атмосферы, в которой он жил, насколько это необходимо для полноты изображения. Не могу также согласиться, что я «напрасно поспешил на рассказы о действиях Куролесова» и что я «касаюсь его поступков только более общими его описаниями». Хороши эти описания или нет, это другой вопрос; но я остаюсь убежденным, что частностей о Куролесове рассказано довольно и что если б их было более, то художественность впечатлений была бы нарушена. Особенно я не согласен, будто происшествие, рассказанное мною в «Буране», неестественно и будто в нем виден произвол сочинителя. Вот что говорит почтенный рецензент: «Мы не говорим уже о неестественности языка, которым беседует здесь старик: «Составим возы и распряженных лошадей вместе, кружком» и проч. Чувствуете ли вы всю условную ненатуральность эпохи тридцатых годов в самом рассказе — расчет на внешние эффекты и отсутствие внутренней необходимости в ходе действия? Старик дает совет; некоторые его слушают и спасаются; непослушные погибают. И надоб-

но же непременно для большей разительности, чтобы один оказался около самого умета, прислонившимся к забору! Нужен же непременно неожиданный наезд нового обоза на то самое место, где лежал зарытый в снегу старик с своими, чтобы от занесенных снегом саней остались видными оглобли, чтобы старик и прочие были живы![2]

Как пахнет все это обычною во время оно, отвне навязываемою моралью!» и пр. и пр. На все это я скажу, что происшествие, мною рассказанное, — действительный факт, случившийся неподалеку от моей деревни, слышанный мною со всеми подробностями от самих действовавших в нем лиц. Для того, чтоб читатели могли судить, прав ли я, или нет, не соглашаясь с моим почтенным рецензентом и не находя в своей пиесе ни «неестественности», ни «морали», ни авторского произвола, я считаю за лучшее перепечатать всю эту небольшую пиесу, вероятно теперь никому не известную. К тому же, может быть, некоторым из моих читателей будет интересно узнать, как писал один и тот же человек за двадцать три года до появления в свет «Се-

мейной хроники» и «Воспоминаний», принятых так благосклонно читающей публикой? — как писал он в то время, когда, кроме каких-нибудь мелких статей, вынужденных, так сказать, обстоятельствами, он ничего не писал. Но, не соглашаясь в одном, я совершенно согласен и искренно благодарен уважаемому мною рецензенту за его замечания о «втором периоде гимназии и об университете», составляющих значительную часть моих отроческих воспоминаний. Они точно слабы, не полны и не выдержаны «по отношению к идее всей книги и к самим себе». Я сам это чувствовал, когда писал их. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь поправить мою ошибку. Эта часть воспоминаний требует более подробной и более последовательной, живой разработки.

Отрывок «Буран» в свое время обратил на себя внимание по особенному, довольно забавному обстоятельству, которое я считаю не лишним рассказать. В 1834 году М. А. Максимович, издавая альманах под названием «Денница», так убедительно просил меня написать *что-нибудь* для сборника, что я не мог

отказать ему. В это время я был очень занят преобразованием Константиновского межевого училища в Константиновский межевой институт, для которого мне, как будущему директору, поручено было написать устав в более широких размерах и более современных формах. Я поистине не имел свободного досуга, но обещание Максимовичу надо было исполнить. Хотя прошло уже шесть лет, как я оставил Оренбургский край, но картины летней и зимней природы его были свежи в моей памяти. Я вспомнил страшные зимние метели, от которых и сам бывал в опасности и даже один раз ночевал в стоге сена; вспомнил слышанный мною рассказ о пострадавшем обозе — и написал «Буря». Я находился тогда (как и всегда) в враждебных литературных отношениях с издателем «Московского телеграфа», а издатель «Денницы» был с ним коротко знаком, участвовал прежде в его журнале и потому мог надеяться, что его альманах будет встречен в «Телеграфе» благосклонно. Благосклонный отзыв «Телеграфа» имел тогда важное значение в читающей публике и был очень нужен для успешного



расхода книги. Я очень хорошо знал, что помещение моей статьи возбудит гнев г. Полевого и повредит «Деннице». Брань издателя «Телеграфа» для меня была не новость: я давно уже был к ней совершенно равнодушен, но, не желая вредить успеху «Денницы», я дал мою статейку с условием — не подписывать своего имени, с условием, чтобы никто, кроме г. Максимовича, не знал, что «Буря» написана мною. Условие было соблюдено в точности. Когда «Денница» вышла в свет, «Московский телеграф» расхвалил ее и особенно мою статейку. Рецензент «Телеграфа» сказал, что это «мастерское изображение зимней вьюги в степях Оренбургских» и что, «если это отрывок из романа или повести, то он поздравляет публику с художественным произведением». Не ручаюсь за буквальную точность приводимых мною слов, но именно в таком смысле и в таких выражениях был напечатан отзыв «Телеграфа». Какова же была досада г-на Полевого, когда он узнал имя сочинителя статьи! Он едва не поссорился за это с издателем «Денницы». Я помню, что один из общих наших знакомых, большой охотник дразнить

людей, преследовал г. Полевого похвалами за его благородное беспристрастие к своему известному врагу. Положение вышло затруднительное: издателю «Московского телеграфа» нельзя было признаться, что он не знал имени сочинителя, нельзя и отступить от своих слов, и г. Полевой должен был молча глотать эти позолоченные пилюли, то есть слушать похвалы своему благородному беспристрастию.

Ни облака на туманном беловатом небе, ни малейшего ветра на снежных равнинах. Красное, но неясное солнце своротило с невысокого полдня к недалекому закату. Жестокий крещенский мороз сковал природу, сжимал, палил, жег все живое. Но человек улаживается с яростью стихий; русский мужик не боится мороза.

Небольшой обоз тянулся по узенькой, как ход крестьянских саней, проселочной неторной дорожке, или, лучше сказать, — следу, будто недавно проложенному по необозримым снежным пустыням. Пронзительно, противно для непривычного уха скрипели, визжали полозья. Одетые в дубленые полушуб-

ки, тулупы и серые суконные зипуны, нахлобученные башкирскими глухими малахаями, весело бежали мужики за своими возами. Запущенные инеем, обмерзшие ледяными сосульками, едва разевая рты, из которых белый дым вылетал, как из пушки при выстреле, и не скоро расходился, — они шутили, припрыгивали, боролись, толкали, будто невзначай, друг друга с узенькой тропинки в глубокий сугроб; столкнутый долго барахтался и не скоро вылезал из мягкого снегового пуха на твердую дорогу. Тут-то сыпались русские остроты по природе русского человека, всегда одетые в фигуру иронии. «Не больно болтай, — говорил один другому, — язык обожжешь: вишь зной какой, так и палит!» — «Шути, шути, — отвечал другой, — самого-то цыганский пот прошибает!» Все хохотали. Так греются на морозе дух и тело русского мужичка.

Подвигаясь скорым шагом, а под изволок и рысью, обоз поднялся на возвышение и въехал в березовую рощу — единственный лесок на большом степном пространстве. Чудное, печальное зрелище представляла бедная ро-

ца! Как будто ураган или громовые удары тешили над нею долгое время: так все было исковеркано. Молодые деревья, согнутые в разнovidные дуги, увязили гибкие вершины свои в сугробах и как будто силились вытащить их. Деревья постарее, пополам изломанные, торчали высокими пнями, а иные, раздранные надвое, лежали, развалясь на обе стороны. «Что за чертовщина! — сказал молодой мужик, — какой леший исковеркал березник?» — «Не леший, а иней, — отвечал старик, — глядь-ка, сколько его нальнуло к сучьям... тяга смертная! Ведь под инеем-то лед, толщиной в руку, и все к одной стороне, все к полуночи. Это бывает после оттепелей, случается не каждый год и вещует урожай: хлеба будет вволю». — «Да куда с ним деваться?..» — подхватил молодой крестьянин и хотел продолжать, но старик, с некоторого времени внимательно озиравшийся на все стороны, с прищуренным глазом припадавший к дороге, сурово крикнул: «Полно калякать, ребята. До умета[3] далеко, ночь близка, дело негоже. Бери вожжи, садись погоняй лошадей!..» Безмолвно повиновались строгому голосу стари-

ка, умудренного годами опытов, пронизательный взор которого провидел в ясности тьму, в тишине бурю. Все струсили, хотя ничего страшного не видали. Проворно повскакали на воза, крикнули, тронули вожжами мочальные оброти невзнузданных лошадей, и обоз, выбравшись из роци на покатую равнину, побежал шибкою рысью.

Все по-прежнему казалось ясно на небе и тихо на земле. Солнце склонялось к западу и, косыми лучами скользя по необозримым громадам снегов, одевало их бриллиантовой корою, а изуродованная налипнувшим инеем роца, в снеговом и ледяном своем уборе, представляла издали чудные и разнovidные обелиски, осыпанные также алмазным блеском. Все было великолепно... Но стаи тетеревов вылетали с шумом из любимой роци искать себе ночлега на высоких и открытых местах; но лошади храпели, фыркали, ржали и как будто о чем-то перекликались между собою; но беловатое облако, как голова огромного зверя, выплывало на восточном горизонте неба; но едва заметный, хотя и резкий, ветерок потянул с востока к западу — и, накло-

нясь к земле, можно было заметить, как все необозримое пространство снеговых полей бежало легкими струйками, текло, шипело каким-то змеиным шипеньем, тихим, но страшным! Знакомые с бедою обозы знали роковые приметы, торопились доезжать до деревень или уметов, сворачивали в сторону в ближнюю деревню с прямой дороги, если ночлег был далеко, и не решались на новый переезд даже немногих верст. Но горе неопытным, запоздавшим в таких безлюдных и пустых местах, где нередко, проезжая целые десятки верст, не встретишь жилья человеческого!

В таком именно положении находился незадолго перед сим веселый обоз, состоявший из осьмнадцати подвод и десятерых возчиков. Они ехали с хлебом в Оренбург, где надеялись, продав свои деревенские избытки хотя недорогой ценою, взять из Илецкой Защиты каменной соли, которую иногда удается сбывать весьма выгодно на соседних базарах, если по распутице мало бывает подвозу. Они выезжали на большую Оренбургскую дорогу, перебивая поперек так называемый Об-

*ший Сырт*, плоское возвышение, которое тянется к Яику, нынешнему Уральску, и по которому лежит известная яицкая казачья дорога. Хотя опытный старик приметил грозу за благовременно, но переезд был длинен, лошади тощи, на кормежке обоз позаmeshкался, и беда пришла неминуемая...

Быстро поднималось и росло белое облако с востока, и когда скрылись за горой последние бледные лучи закатившегося солнца — уже огромная снеговая туча заволочла большую половину неба и посыпала из себя мелкий снежный прах; уже закипели степи снегов; уже в обыкновенном шуме ветра слышался иногда как будто отдаленный плач младенца, а иногда вой голодного волка. «Поздно, ребята! — закричал старик. — Стой! нечего гнать и мучить понапрасну лошадей. Поедем шагом. Если не собьемся с дороги, авось бог помилует. Петрович, — сказал он, оборотясь к высокому плотному мужику, также немолодому, — поезжай сзади; твой гнедко хоть не боек, зато нестомчив, не отстанет, да и ты не задремлешь. Гляди в оба, чтобы кто не отстал да в сторону по дровяной

или сенной дороге не отбился, а я поеду передовым!» С большим трудом перетащили стариков воз вперед, а лошадь Петровича, столкнув с дороги в сторону, объехали, потом вытащили ее из сугроба, и Петрович стал задним. Старик снял рысий малахай, вымененный у башкирского кантонного старшины на жирную молодую лошадь, в осеннюю гололедицу переломившую ногу, помолился богу и, сев на воз: «ну, серко! — сказал хотя невеселым, но твердым голосом, — выручал ты меня не один раз, послужи и теперь, не сшибись с дороги...» — и обоз поехал шагом.

Снеговая белая туча, огромная, как небо, обтянула весь горизонт и последний свет красной, погорелой вечерней зари быстро задернула густою пеленою. Вдруг настала ночь... наступил буран со всей яростью, со всеми своими ужасами. Разыгрался пустынный ветер на приволье, взрыл снеговые степи, как пух лебяжий, вскинул их до небес... Все одел белый мрак, непроницаемый, как мрак самой темной осенней ночи! Все слилось, все смешалось: земля, воздух, небо превратились в пучину кипящего снежного пра-



ха, который слепил глаза, занимал дыханье, ревел, свистал, выл, стонал, бил, трепал, вертел со всех сторон, сверху и снизу, обвивался, как змей, и душил все, что ему ни попадалось.

Сердце падает у самого неробкого человека, кровь стынет, останавливается от страха, а не от холода, ибо стужа во время буранов значительно уменьшается. Так ужасен вид возмущения зимней северной природы. Человек теряет память, присутствие духа, безумет... и вот причина гибели многих несчастных жертв.

Долго тащился наш обоз с своими двадцатипудовыми возами. Дорогу заносило, лошади беспрестанно оступались. Люди по большей части шли пешком, увязали по колена в снегу; наконец, все выбились из сил; многие лошади пристали. Старик видел это, и хотя его серко, которому было всех труднее, ибо он первый прокладывал след, еще бодро вытаскивал ноги — старик остановил обоз. «Други, — сказал он, скликнув к себе всех мужиков, — делать нечего. Надо отдаться на волю божью; надо здесь ночевать. Составим возы и

распряженных лошадей вместе, кружком. Оглобли свяжем и поднимем вверх, оболочем их кошмами, сядем под ними, как под шалашом, да и станем дожидаться свету божьего и добрых людей. Авошь не все замерзнем!»

Совет был странен и страшен; но в нем заключалось единственное средство к спасенью. По несчастью, в обозе были люди молодые, неопытные. Один из них, у которого лошадь менее других пристала, не захотел послушаться старика. «Полно, дедушка! — сказал он. — Серко-то у тебя стал, так и нам околевать с тобой? ты уже пожил на белом свету, тебе все равно; а нам еще пожить хочется. До умета верст семь, больше не будет. Поедем, ребята! Пусть дедушка останется с теми, у кого лошади совсем стали. Завтра, бог даст, будем живы, воротимся сюда и откопаем их». Напрасно говорил старик, напрасно доказывал, что серко истомился менее других; напрасно поддерживал его Петрович и еще двое из мужиков: шестеро остальных на двенадцати подводах пустились далее.

Буран свирепел час от часу. Бушевал всю ночь и весь следующий день, так что не было

никакой езды. Глубокие овраги делались высокими буграми... Наконец, стало понемногу затихать волнение снежного океана, которое и тогда еще продолжается, когда небо уже блестит безоблачной синевою. Прошла еще ночь. Утих буйный ветер, улеглись снега. Степи представляли вид бурного моря, внезапно оледеневшего... Выкатилось солнце на ясный небосклон; заиграли лучи его на волнистых снегах. Тронулись переждавшие буран обозы и всякие проезжие.

По самой этой дороге возвращался обоз порожняком из Оренбурга. Вдруг передний наехал на концы оглобель, торчащих из снега, около которых намело снеговой шиш, похожий на стог сена или на копну хлеба. Мужики стали разглядывать и заметили, что легкий пар повевал из снега около оглобель. Они смекнули делом; принялись отрывать чем ни попало и отрыли старика, Петровича и двоих их товарищей: все они находились в сонном, беспамятном состоянии, подобном состоянию сурков, спящих зиму в норах своих. Снег около них обтаял, и у них было тепло в сравнении с воздушной температурой. Их вытащи-

ли, положили в сани и воротились в умет, который точно был недалеко. Свежий, морозный воздух разбудил их; они стали двигаться, раскрыли глаза, но все еще были без памяти, как бы одурелые, без всякого сознания. В умете, не внося в теплую избу, растерли их снегом, дали выпить вина и потом уложили спать на полати. Проспавшись настоящим сном, они пришли в чувство и остались живы и здоровы.

Шестеро смельчаков, или, лучше сказать, глупцов, послушавшихся молодого удальца, вероятно, скоро сбились с дороги, по обыкновению принялись ее отыскивать, пробуя ногами, не попадет ли в мягком снегу жесткая полоса, разбрелись в разные стороны, выбились из сил — и все замерзли. Весною отыскали тела несчастных в разнообразных положениях. Один из них сидел, прислонясь к забору того самого умета...

*Илецк.*[4]

# ОТРЫВОК ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ

Я познакомил вас с наружностью моего дедушки и отчасти с необыкновенной его вспыльчивостью, доходившею иногда до слепого бешенства. Я видел его таким в моем детстве, и впечатление страха до сих пор живо в моей памяти... Как теперь гляжу на него!.. В своем месте я расскажу некоторые из этих явлений. — Мой отец совершенно не походил на своего отца и лицом и свойствами: это был человек тихого и спокойного нрава, самых мирных наклонностей, в молодости отличавшийся девичьею красотой и смирением. Дедушке не нравились такие достоинства, и он говаривал иногда: «Эх, Тимофей не по мне! Весь в Неклюдовщину!» Из нас, троих его внуков, также никто не походил на дедушку, особенно наружностью. Мою вспыльчивость и живость я наследовал прямо от своей матери... Но кровь, порода берут свое и проявляются, иногда через долгое время, с поразительной очевидностью. Я нередко слы-

хал от настоящих русских людей, то есть от крестьян, что «такой-то парень укинулся в дедушку или прадедушку: весь, как вылитый, в него, и обличьем и обычаем». Эти чудно-меткие слова казались мне вздором. Судьбе угодно было, чтобы верный и глубокий смысл народного замечания и выражения осуществился в одном из моих сыновей. Сын мой Григорий, родившийся 4 января 1820 года, в воскресенье, ровно в полдень, в селе Знаменском, Аксаково тож, скоро стал напоминать мне голубыми глазами и шириной склада моего дедушку, а своего прадедушку, Степана Михайловича. Впоследствии это сходство увеличилось и было признано всеми родными. В 1821 году осьмимесячного Гришу повезли мы с собою в Москву, где прожили ровно год. Гриша был такой прелестный младенец, что никто не мог видеть его и не приласкать: полный, круглый, розовый, атласный, с большими светлыми, веселыми голубыми глазами. Это были любовь и утеха всего дома и всех знакомых. Вспыльчивость начала оказываться в нем, когда он был еще грудным ребенком; если кормилица не скоро давала ему грудь, ко-

торую он требовал всегда живыми и выразительными движениями, то вся кровь бросалась ему в лицо, из розового он делался красным, и светлые глазки его темнели и мутились. В двухлетнем дитяти, необыкновенно добром и веселом, развивавшаяся постепенно вспыльчивость сделалась так забавною и смешною, что я даже сам, более других убежденный в вредных последствиях такой забавы, не мог иногда утерпеть и не подразнить Гришу. Гнев его обнаруживался уже не одной краской в лице и потемнением веселых глазок, но и градом ударов детского, впрочем необыкновенно большого и сильного кулачка. Вспышка, мгновенно налетавшая, — мгновенно и улетала: в ту же минуту Гриша уже обнимал, плакал и целовал того, кого колотил. Сколько раз я сам, неразумный отец, дразнил его!

Была у меня огромная легавая собака Гранжер, ни шагу от меня не отходившая (я был страстный охотник стрелять); все дети привыкли играть с ней, и умное животное позволяло тормозить себя маленьким шалунам и шалуньям. Однажды двухлетнему с неболь-

шим Грише захотелось сесть на Гранжера верхом, и он просил меня посадить его и поддержать; сначала я так и сделал; но как пропустить случай подразнить Гришу и посмеяться над страхом дитяти?.. Я посадил его на спину Гранжера, заставил ухватиться ручонками за толстую шею смирной собаки и сам отбежал проворно в сторону. Гриша ужасно перепугался: принялся кричать на весь двор, умоляя нежнейшими эпитетами, чтоб я его снял; но я безжалостно хохотал и вдобавок позвал к себе Гранжера, до тех пор стоявшего неподвижно: собака повиновалась, вопли Гриши усилились, он начинал терять равновесие, покачнулся и полетел вверх ногами на траву... Не успел я опомниться, как Гриша молотил уже меня кулаками, продолжая реветь громче прежнего. Вместо того, чтоб взять за правило: не дразнить ребенка, способного приходить в такое исступление, — это сделалось любимой забавой. Вина непростительная! Непрерывный ряд таких увеселительных сцен продолжался почти до шестилетнего возраста бедного Гриши. Изобретательность в содержании их была неистощима! Одним из



самых употребительных был следующий фарс: коверкая лицо и язык на немецкий лад, в чем я был большой искусник, я прикидывался немцем и весьма серьезно и долго уверял, что я колонист из Сарепты, когда мы жили еще в деревне, или булочник Дромер, когда мы уже переехали на житье в Москву. Ребенок, озадаченный таким превращением, обыкновенно начинал смехом и словами: «Нет, вы не немец, вы отесинька». Неутомимое продолжение фарса доводило его до слез, и, наконец, он выходил из себя. Последняя проделка в этом роде, когда Грише было уже около шести лет, наконец, вразумила меня. Гриша, выведенный из терпения моими убедительными доказательствами, что я немец Дромер, дал мне полновесную пощечину, примолвя: «а когда вы не отесинька, то как смеее лежать на его постели?» Туман слетел с моих глаз, и хотя я хорошо понимал, что Степан Михайлович 1780-х годов невозможен в 1840-х, что пылкость души, проникнутой образованием и семейной любовью, есть живописный источник всего прекрасного, благородного и высокого, но испугался, однако, за

последствия, которым может подвергнуть молодого человека такая горячность. Кончилась забава, перестали дразнить Гришу и свои и чужие, отдохнуло мое бедное дитя. Разумеется, природная вспльчивость оставалась, но, не раздражаемая более, уже не проявлялась в прежних безумных выходках. Так шли дела, пока наступило время отдать Гришу в Училище правоведения, только что открытое в Петербурге. Я всегда не любил этот не русский город, весь состоящий из казарм и присутственных мест, из солдат и чиновников; еще более не любил его воспитательные и учебные заведения; но необходимость доставить сыновьям практическое, служебное направление и выгодную дорогу по службе — решила меня на эту жертву. Дети мои были связаны такими крепкими узами семейной любви, что я не боялся вредного впечатления, систематически губительного петербургского воспитания; к тому же сыновья мои вступали в учебное заведение по пятнадцатому году, а Гриша вступил даже по шестнадцатому. В 1863 году я отвез его в Петербург, и он вошел прямо в четвертый класс, тогда старший.

Только при расставанье узнал я всю силу Гришиной любви ко мне и семейству, которого я был тогда единственным представителем. Никогда не забуду я его глаз, устремленных на меня с любовью и тоскою наступающей разлуки...

Прощаясь, он дал мне слово: в первую минуту вспыльчивости — вспомнить об отце и матери.

Он сдержал свое слово: через несколько месяцев один из коротких моих приятелей (А. Ф. Томашевский) привез мне секретное письмо от Гриши и отдал потихоньку от матери, которая не знала об этом письме до выхода Гриши из училища. Письмо сохраняется у меня и теперь. Опасаясь, чтоб слухи или извещение директора не встревожили нас, Гриша описал мне весьма подробно случившееся с ним происшествие. Оно состояло в следующем. Старший класс гулял в своем саду; к одному из воспитанников приехали мать и сестры, которые показались некоторым почему-то весьма забавными, и молодые люди позволили себе посмеяться над дамами неприличным образом. Гриша был также в

саду и ходил, обнявшись с двумя товарищами. Все трое не только не участвовали в дерзости воспитанников, но, напротив, старались их удержать. Когда история дошла до директора, человека ничтожного, пустого, то разумный педагог наказал весь класс, кроме Гриши.

Благородная душа моего сына не вытерпела. Он явился к директору и сказал: «Ваше превосходительство приказали наказать весь старший класс, даже и тех двоих моих товарищей, с которыми я вместе ходил и которые, точно так же, как я, не участвовали ни в чем; а потому я прошу, прикажите также наказать и меня».

Вместо того, чтобы как-нибудь поправить свою ошибку или по крайней мере, оценив такой благородный порыв, сказать молодому человеку, что не его дело вмешиваться в распоряжение начальства и прочая и прочая... г. директор, уязвленный в душе благородным чувством и словами моего Гриши, изволил прогневаться, назвал его бунтовщиком, вольнодумцем и погрозил телесным наказанием и солдатством на Кавказе...

Вся кровь прихлынула к сердцу и голове моего сына; в глазах у него потемнело, он уже терял сознание и власть над собою, и бог один знает, что бы он сказал и сделал, если б мгновенно не озарила его мысль об отце и матери. Гриша удержался, но весь пыл его оскорбленного сердца выразился в его взгляде!.. Таков был этот взгляд, что трусишка директор не вынес его более секунды и убежал, вскрикнув: «Ах, он сумасшедший!»

Гришу велели отвести в больницу, раздели и посадили в пустую комнату под арест. Он повиновался беспрекословно; заставили просить прощенье (бог знает в чем) у директора — он все исполнил. Мысль об отце и матери уже ни на минуту его не оставляла. Но, боже, чего стоило ему переломить себя и усмирить свое оскорбленное сердце!.. Только сыновняя любовь могла произвести такое чудо. Впоследствии, работая беспрестанно над собою, Гриша совершенно овладел своим характером... О, сильна и благонадежна любовь такого сердца! Глубокое чувство, безграничная преданность, полное самоотвержение и неизменное постоянство лежит в основании этой

пылкой души.

# НАТАША

## (Очерк помещичьего быта)

В первых годах первого десятилетия текущего, богатого великими событиями, девятнадцатого века, стало быть с лишком за пятьдесят лет, в одной отдаленной от столиц полустепной и полулесной губернии, соседственной с настоящими коренными нашими лесными губерниями, Пермскою и Вятскою, в совершенном захолустье, жило богатое и многочисленное дворянское семейство Болдухиных в пятисотдушном селе Вознесенском, Болдухино тож; жило в полном смысле по-деревенски. Старики, не получившие никакого образования, разбогатевшие недавно и совершенно неожиданно, не привыкли еще пользоваться и распоряжаться как следует всеми средствами настоящего своего богатого состояния. В иных случаях тратились они без надобности и бросали деньги, как говорится, на ветер, так что добрые люди посмеивались и думали про себя, а некоторые, может быть, и говорили: «Дешево деньги достались; цены и

счету им не знают». В иных случаях же, именно в таких, в которых не надо жалеть денег, Болдухины были скуповаты, и вот те же добрые люди говорили про себя, а некоторые, может быть, и вслух, что: *не рука крестьянину калач есть* и что не смыслят Болдухины, где денежку надо приберечь и где бросить. Впрочем, следуя духу времени, начинавшему пробиваться до границ таких губерний, где зимой частехонько замерзает ртуть, Болдухины желали доставить *воспитание* своим детям и для того не жалели денег. Разумеется, успех (понимая его в нашем смысле) не соответствовал желанию и значительной денежной трате, потому что не только трудно, но почти невозможно было затащить в такую отдаленную глушь хороших учителей и учительниц; учительницы, или *мадамы*, как их тогда называли, были необходимее учителей, потому что в семействе Болдухиных находилось пять дочерей и четверо сыновей; но все братья были дети, были почти погодки и моложе своих сестер. Старшей из них, Наташе, совершенной красавице, тогда было четырнадцать лет. Итак, родители ограничились тем, что выпи-



сали через какого-то корреспондента, печатно уверявшего в газетах о своей честности, какую-то мадам де Фуасье и какого-то мусье, старого капитана австрийской службы Морица Иваныча шевалье де Глейхенфельда, и поручили им учить детей всем наукам и искусствам. Старая француженка мадам де Фуасье, не знавшая никаких языков, кроме французского, умела только ворожить на картах и страстно любить свою огромную болонку Азора, у которого были какие-то странные черные, точно человечьи, глаза, так что горничные девки боялись смотреть на Азорку. Шевалье де Глейхенфельд, нидерландский уроженец, «Морс Иваныч», как его звала в доме прислуга, знал основательно два языка — французский и немецкий, неосновательно — латинский, да четвертый еще — составленный им самим из всех европейских языков и преимущественно из польского и других славянских наречий, потому что капитан долго служил в австрийской армии и много таскался по австрийским славянским владениям. Вот образчик его речей на этом составном языке. Хотел ли он назвать кого-нибудь глу-

пым, он говорил: «Он има на свой глыва шанки, ирбата и слома», то есть он имеет в своей голове сено, траву и солому. Разговоры называл говрианье, сказки — кишкерес, вора — двур, девушку — кобитка и пр. Сверх того он был большой проказник, иногда называл барыню — баранина, притворяясь, что не умеет различать этих слов. Так, например, один раз при гостях за обедом, будучи недоволен, что мало осталось жаркого на блюде, он с досадой отказался от него. Г-жа Болдухина, заметив это, в простоте души обратилась к нему с вопросом: «Отчего, Мориц Иваныч, вы не взяли жареного?..» — «Оттого, моя сударыня, баранина, — отвечал капитан, — что ту нема кусок на мой густо». Г-жа Болдухина покраснела до ушей с досады, гости расхохотались, у лакеев искривились лица от сдержанного смеха, а Морс Иваныч с видом невинности начал допрашивать: не сказал ли он чего-нибудь смешного? Кавалер де Глейхенфельд тоже ворожил, но по звездам, и составлял гороскопы, влезая для наблюдения по ночам на колокольню. Странно, что, на смех здравому смыслу, некоторые из его гороскопов впослед-

ствии оказывались поразительно верны. Разумеется, его считали колдуном и даже побаивались. Он очень любил одного из сыновей Болдухиных, смуглого лицом мальчика, и называл его: «Черный попа». Перед Наташей он благоговел.

Сначала ученье шло, казалось, хорошо; но года через два старики стали догадываться, что такие учителя недостаточны для окончательного воспитания, да и соседи корили, что стыдно, при их состоянии, не доставить детям столичного образования. Болдухины думали, думали и решились для окончательного воспитания старших детей переехать на год в Москву, где и прежде бывали не один раз, только на короткое время. Впрочем, была и другая побудительная причина к отъезду в древнюю столицу.

С половины лета начались сборы; старики не умели понять, что в Москве нужно только побольше денег и как можно меньше народу. Они нагроузились всякою всячиною, набрали кучу ненужных вещей, запасов и людей; разумеется, за все это они дорого поплатились.

В последних числах сентября, еще в хоро-

шую, или по крайней мере сносную, осеннюю погоду, довольно рано поутру выехали из села Болдухина две кареты, две коляски, несколько кибиток и телег, навьюченных донельзя. Весь этот обозище отправлялся на своих доморощенных господских лошадях, числом не более, не менее на тридцати семи конях. Не успели отъехать и пятнадцати верст, как семилетний мальчик Петруша, старший из сыновей Болдухиных, фаворит и баловень Варвары Михайловны (так звали г-жу Болдухину), которого повезли уже нездоровым, в надежде, что дорогой будет ему лучше, — так разнемогся или по крайней мере так расплакался (ехать в Москву ему не хотелось), что испуганные родители решились воротиться домой.

В селе Болдухине общее удовольствие по случаю отъезда господ в Москву на долгое время находилось в самом разгаре. Многочисленная дворня, проводя до околицы своих помещиков со многими вздохами и слезами, толпою возвращалась домой, рассуждая между собой, зачем уехали бары в Москву. «Видно, денег некуда девать, — говорил, хрипя от

одышки, старый ключник Иван Маркыч, — ну, чего не видали в Москве? Ну, где им найти жителя лучше, как в Болдухине?» — «Это все она, — подхватила молодая смазливая прачка, сосланная недавно за что-то из горничных в людскую стирать белье. — Барин бы век не выехал из деревни; это все ей, барыне, не сидится дома, она же и дочку подбила». — «Ну, где тебе, глупой бабе, это разуместь, — возражал старый буфетчик, купленный лет за десять Болдухиными. — Можно ли приравнять московскую жизнь к вашей? Здесь глушь, Азия, татары, черемисы да вотяки. Кого здесь увидишь? А там, на Москве у нас, церковью божиих не сочтешь; енералов и всяких важных господ видимо-невидимо, а к тому же и деток надобно обучать...» В таких-то приятных и поучительных разговорах дошла дворня до своих изб, клетей и амбарушек и, разбившись на кружки, принялась пировать на свободе. Хотя помещики были люди не строгие, а добрые и даже слабые, но все как будто гора у всех свалилась с плеч и всякий строил в голове планы, как бы сначала повеселиться, а потом по-выгоднее проводить свое досужее время.

Вдруг какой-то зоркий мальчишка заметил показавшиеся на горе высокие экипажи; их сейчас узнали, и тревожная весть: «Господа воротились» — как молния пронеслась по всем людским, избам, ткацким, столярным, прачечным, — и везде сделалась большая суматоха. Кто мог, побежал навстречу, а кто не мог — те попрятались, наказав отвечать господам, если спросят: что приказчик уехал, дескать, по хозяйственным господским надобностям в соседнюю деревню, что ключник угорел в бане, старый буфетчик отлучился поохотиться с острогою за рыбою верст за шесть, И пр. и пр.

Но все опасения были напрасны и все предосторожности не нужны. Хозяева воротились в таком смущении, что не обратили ни на кого ни малейшего внимания. Смущение происходило оттого, что старик Болдухин (в самом деле неохотно ехавший в Москву) сказал наотрез своей супруге и дочери при решении воротиться домой, что, по выздоровлении Петруши, хотя бы оно и через неделю последовало, поздно будет пускаться в такой дальний путь; что в октябре уже не езда на

своих по проселочным дорогам и что ехать надо будет уже по зиме. Из этого вышел горячий и неприятный спор, и все воротились очень невеселы, особенно мать и старшая дочь Наташа, шестнадцатилетняя необыкновенная красавица. И матери и дочери, по каким-то неведомым, инстинктивным причинам очень хотелось в Москву, и, войдя в дом, прошли они прямо в спальню г-жи Болдухиной и принялись обе плакать.

Экипажи оставили у лакейского подъезда и у девичьего крыльца; лошадей приказано было отложить, а лакеям и горничным выбирать из карет и повозок только необходимое для ночлега, из чего можно заключить, что барыня надеялась на скорое выздоровление Петруши. Кучер Трофим, выпрягая коренных из четвероместной кареты, крепко сердился на форейтора Сидорку: «Счастлив ты, собачий сын, что воротились, — говорил он хриплым басом. — Я бы на первой кормежке нагрел те спину. Вишь как упарил подседельную! Разве я те не кричал: держи, не давай натягивать постромок?» — «Да кто ее, дядюшка, сдержит? — раздавался пискливый и плаксивый

голос форейтора. — Ведь ты сам знаешь, какова она в голове-то крепка; все руки вытянула...» — «Я те вытяну. Ну, ну, ну, веди лошадей-то твоих», — ворчал Трофим (человек не злой, но любивший припугнуть форейтора Сидорку), уводя в конюшню четверку вспаренных коней. Лакеи и горничные принялись выбираться; кое-кто из остававшихся дворовых прибежали помогать им, и со всех сторон посыпались шутки и прибаутки по случаю неудачной поездки и скорого возвращения: «Ну что, хорошо ли в Москве? Чай, всего нагляделись!» — говорили одни, оставшиеся в деревне. «Мы-то ничего, — говорили воротившиеся, — а вот вам-то каково! И погулять не успели. Да где у вас остальные-то? Али с радости угорели?» — «Ну, нишкни, что орешь! Вон барин на крыльце...» Барин в самом деле вышел на крыльцо для каких-то приказаний... В самую эту минуту раздался колокольчик, и телега парой, шибко приближаясь и звеня, въехала на двор; проворно соскочил с нее никому не известный, одетый как барин, какой-то молодой малый, спросил: дома ли господа и где они, и когда указали ему, что гос-



подин стоит на крыльце, приезжий подошел к барину, снял дорожный картуз, поклонился, подал письмо и сказал: «Флегонт Афанасьич, Мавра Васильевна и Афанасий Флегонтович Солобуевы приказали кланяться, спросить о здоровье и доложить, что они приехали и остановились в Вырыпаевке». Хозяин очень смутился, спросил, однако, о здоровье Солобуевых и, взяв письмо, торопливо ушел в дом. Входя в спальню с письмом в руке, Болдухин сказал торжественно: «Ну вот, матушка, хорошо, что воротились: ведь Солобуевы приехали. Ведь было бы стыдно, если б не застали нас. Ведь я говорил, что приедут». Мать и дочь обе вскрикнули и вскочили, подумав, что Солобуевы у крыльца, и сейчас вспомня, что они одеты по-дорожному; но Василий Петрович (так называли старика Болдухина) поспешил их успокоить, сказав, что гости ночуют за двенадцать верст, и прислали передового с письмом. Поспешно прочли письмо, содержащее в себе только извещение о завтрашнем приезде (написанное конторским слогом и почерком). Разумеется, приезд последовал вследствие приглашения самих Бол-

духиных, сделанного еще прошлого года, которое считали несбыточным и о котором почти забыли. Хозяева не вдруг опомнились от такого, уже вовсе неожиданного и позднего посещения, которое застало их совершенно врасплох, совершенно не в пору, но делать было нечего. Сообразя несколько свое положение, Болдухины прежде всего призвали к себе в залу нарочного, присланного с письмом, расспросили его самым ласковым образом о здоровье его господ и о том, благополучно ли они совершили такую дальнюю, трудную дорогу. Сказали, между прочим, как они рады таким дорогим и почтенным гостям, госпожа же Болдухина между ласковыми речами вклеила и вопрос: отчего Флегонт Афанасьич, Мавра Васильевна и Афанасий Флегонтович не прибыли летом, а пустились в путь уже в позднюю осень? Бойкий и хвастливый лакей, камердинер молодого Солобуева, сейчас смекнул, с кем имеет дело, закидал словами наших деревенских стариков и умел напустить им такой пыли в глаза рассказами о разных привычках и привередах своих богатых господ, что Болдухины перетруснулись и

не знали, как принять, где поместить и как угостить хотя не знатных, но страшным богатством избалованных и изнеженных посетителей; на вопрос же Варвары Михайловны, отчего так поздно приехали Солобуевы, камердинер отвечал: «Всё изволили собираться и до последнего дня не решались, ехать или нет-с. Ведь Флегонту Афанасьичу отлучиться не то, что другому-с; в ихних делах может сделаться в одну неделю упущение на миллион или более-с (лакей не пугался цифры); кроме же того, они привыкли везде жить, как живут у себя дома; все с собой забрали-с, и людей себе приятных, и мухобилей, к которым привыкли. Мы едем-с в трех каретах, двух колясках и в двадцати повозках; всего двадцать пять экипажей-с; господ и служителей находится двадцать две персоны; до сотни берем лошадей. Флегонт Афанасьич очень знают-с, что в доме поместиться им с семейством невозможно: и вам и им-с будет беспокойно, а потому приказали просить, если нет особого флигеля для их помещения, очистить десятка два-с крестьянских изб. Хозяева останутся довольны-с». — Покуда объяснялись и ласково

беседовали с камердинером, успели приготовить для него кое-что поесть, потому что в этот день ни для господ в кухне, ни для людей в застольной ничего не готовили: остававшаяся в Болдухине дворню всю спустили на месячину. Потом напоили приезжего господским чаем с ромом, и потом сам Болдухин пошел с ним осматривать флигель, никем кроме приезжих гостей не занимаемый, а также и людские избы. По счастью, камердинер благосклонно объявил, что флигель очень достаточен для временного помещения его господ и что если очистить несколько людских изб, то и служители поместиться в них могут. Старик Болдухин очень был доволен таким отзывом. Камердинер просил немедленно его отправить. Привезшая его вырыпаевская пара, нанятая с оборотом, вместе с подводчиком была накормлена и напоена: лошадки — водой, а подводчик — вином. Болдухины написали самое ласковое письмо к Солобуевым, просили камердинера на словах передать их радость дорогим гостям, буфетчик поднес ему третью рюмку сладкой водки, — и опять зазвенел колокольчик, застучала телега, подняв

за собою пыль вдоль длинной болдухинской улицы, и уехал бойкий камердинер. Боже мой! Какая суматоха, какая кутерьма поднялась в целом доме! Надо было не только выбраться из дорожных экипажей, разложиться по местам, привести и кухню и буфет в прежний порядок, — надо было все устроить для помещения, для угощения приезжих гостей, богачей, миллиончиков, у которых и прислуга одевается и живет по-господски! Дым пошел коромыслом... Но не пора ли мне воротиться назад и рассказать, что это за Солобуевы, как они познакомились с Болдухиными и что значит их посещение?

В Оренбургской губернии находятся серные источники, получившие впоследствии всем известное имя «Сергиевских серных вод». Тогда это было дикое место на нагорной стороне степной реки Большой Сургут. Серные ключи били из подошвы небольшой горы и ручьями втекали в огромный четвероугольный, крепко срубленный из толстых дубовых бревен бассейн, построенный необычайно прочно и почти до краев наполненный осевшею серою. Старожилы говорили, да и

местность это подтверждала, что тут был некогда серный завод, уничтоженный будто бы в последние годы царствования императрицы Елизаветы. Лично мне рассказывали, что когда расчищали серные ключи, то находили дубовые клинья, чурбаки и доски, обернутые в войлок, которыми были крепко заключены главные источники, отчего вода, прегражденная в своем истоке, просачивалась вокруг множеством маленьких родников. Очевидно, что завод был уничтожен за мнимым, то есть искусственным, уменьшением серных ключей. Кому это было нужно, — не знаю. Из бассейна бежала речка и впадала в Сургут. По отлогим скатам, в ущельях которых, избитых шахтами, росли разные породы чернолесья, в живописном беспорядке были разбросаны калмыцкие кибитки, палатки, плетневые шалаши и кое-где избышки, перевезенные из ближайших чувашских деревень. Помещики, даже из дальних мест, начинали уже каждое лето съезжаться на воды. Никаких докторов и полицейских чиновников там еще не было, а был некто Петр Андреевич Глазов, оренбургский помещик и желез-

ный заводчик, открывший эти целебные источники по народной молве, потому что обыватели упраздненного города Сергиевска и окрестные жители, по большей части некрещеные чуваша, не переставали лечиться и вылечиваться от всех болезней питьем прозрачной, холодной, как лед, серной воды и купаньем в ее бассейне. Помещик Глазов, чудесно излеченный ими от долговременной болезни, стал посещать ежегодно целебные источники и сделался ревностным распространителем их славы, приглашая туда словесно всех знакомых и, через письма, даже незнакомых ему людей, доказывая им пользу леченья собственным примером. Он сделался каким-то хозяином, полицейским чиновником и доктором при Серных Водах: всякий новоприезжий являлся к Петру Андреичу, спрашивал, где ему разбить свой табор, рассказывал про свою болезнь и просил наставления, как употреблять воду? Петр Андреич отводил места, назначал употребление целебной воды, даже указывал, где брать дрова и откуда получать съестные припасы; все с уважением и благодарностью в точности исполняли его

благодетельные советы.

Болдухины имели на Серных Водах самую лучшую избу, которую называли дворцом, потому что Варвара Михайловна, женщина тучная, но болезненная, несмотря на отдаленность (надо было проехать с лишком триста верст), уже несколько лет приезжала туда с мужем и старшими детьми лечиться целебными ключами. В прошедшем году Болдухины жили лето на Серных Водах. Кочевой быт скоро знакомит и сближает людей, а потому и Болдухины были знакомы со всеми.

В один знойный летний день, когда душно было сидеть и в избе, и в палатке, и в калмыцкой кибитке, несмотря на то, что боковые кошмы были подняты и воздух свободно проходил сквозь решетчатые стенки войлочного шатра, семейство Болдухиных сидело с несколькими посетителями в тени своей избы и, не смущаясь жаром, готовилось пить чай, тогда еще не запрещенный докторами, потому что их не было. Вдруг видят они проезжающие мимо крестьянские роспуски, на которых, на груде подушек, покрытых богатым ковром, высоко сидел большого роста,



никому не знакомый, очень тучный старик. Вид его поразил всех; на голове его была наде-та черная пуховая шляпа с широкими полями; длинные седые волосы лежали по плечам; крупные черты лица были выразительны; одет он был в темный сюртук; в руках держал камышовую трость с золотым набалдашником. Старик проехал очень близко, снял шляпу, поклонился и, тихо удаляясь на своих роспусках, с напряженным вниманием долго смотрел на изумленных Болдухиных. Не успели они переговорить с своими гостями о странном появлении неизвестного старика, как он в другой раз проехал мимо, уже с противоположной стороны, так же поклонился и так же внимательно смотрел на всех. Некоторые начали посмеиваться над загадочным незнакомцем и вторичным его поклоном; хотели было послать разведать, кто этот чудак и откуда?.. как вдруг в третий раз показались те же роспуски, с тем же высоким седоком, только уже не проехали мимо, а, поровнявшись, остановились; кучер слез с передков и, сняв шляпу, подошел прямо к старику Болдухину, поклонился и почтительно

доложил, что господин его, Флегонт Афанасьич Солобуев, свидетельствует свое почтение и, желая познакомиться, просит позволения прийти к хозяевам и разделить беседу. Разумеется, Болдухины приказали покорнейше просить. Подходивший кучер был одет, как богатый купец, и сам по себе представлял великолепную тучную фигуру, украшенную чудесной русой бородой. Один из гостей вспомнил, что слышал вчера о приезде на воды издалека каких-то богачей, заводчиков Солобуевых. Незнакомый старик не замедлил явиться. С большою важностью и в то же время вежливостью и старинными поклонами он отрекомендовался всему обществу и каждому порознь; подходил даже к Наташе, спросил об ее имени и просил полюбить старика. Новый гость уселся с другими около стола, на котором уже кипел самовар, и пустился говорить без умолку. Он попросил позволения закурить трубку, и великолепный кучер подал ему богатую пенковую трубку с витым чубуком и огромный кисет табаку, который более походил на мешок или кулек; гость закурил и, попивая чай и куря без перемежки, в ко-

роткое время рассказал всю свою историю, со всеми даже подробностями. Это был велеречивый говорун; его речь лилась, как плавный поток, имела в себе что-то книжное и высокопарное и в то же время что-то добродушное и достолюбезное. В непродолжительном времени общество узнало, что он старинный дворянин, владелец нескольких чугуноплавильных и железоделательных заводов и помещик многих деревень; что он уже тридцать восемь лет женат на Мавре Васильевне, урожденной Савиновой, что бог благословил его брак тремя дочерьми и одним сыном, которому уже двадцать пять лет, что дочери его выданы замуж и что он приехал лечиться на Серные Воды от одышки (которой никто у него не замечал). Хотя старик не поминал о деньгах, но все как-то почувствовали, убедились, что у него в сундуке лежат миллионы. Потом следовали бесконечные рассказы старика о достоинствах его жены и сына, о превосходном состоянии его заводов и пр. и пр. Сначала все слушали со вниманием и любопытством; даже Наташа опускала из рук свою работу и устремляла на старика свои прекрас-

ные глаза. Старик это замечал и нередко обращал прямо к ней свою речь с каким-то особенным выражением, отчего Наташа смущалась и, скромно потупляя глаза, поспешно принималась за работу. Наконец, гость утомил и заговорил всех; вероятно, он это заметил, встал, раскланялся со всеми с великою учтивостью, с Наташей особенно, и, выпросив позволение привести свою старуху и представить сына, ушел.

Болдухины поговорили сначала о новом знакомом и хотя хвалили доброго старика, однако находили, что он подчас и скучноват, потому что слишком любит распространяться о своих заводах, о заводских делах, о своем сынке, так что другим приходится молчать и слушать; поговорили и забыли про своего велеречивого гостя. Через неделю, возвращаясь с Серных источников, где Варвара Михайловна пила холодную, прозрачную, как хрусталь, воду прямо из родника и для компании заставляла пить Наташу, цветущую свежестью и здоровьем, вздумали Болдухины, для большего телодвижения, пройти другою, окольную дорогой. Вдруг из одной новой избы, ми-

мо которой шла дорога, прежде никем не занятой, выбежал лакей с покорнейшею просьбою от Флегонта Афанасьича и Мавры Васильевны Солобуевых, чтобы Болдухины удостоили их своим посещением. Отказаться показалось неловко, да и было совестно, что Василий Петрович забыл отдать визит старику Солобуеву, а потому, хотя и неохотно, Болдухины решились зайти к новым посетителям вод, а Наташу отпустили домой с гувернанткой. Только что Болдухины начали рекомендоваться с хозяйкой, как Флегонт Афанасьич хватился Наташи: он видел, что она шла вместе с отцом и матерью. Старик принялся так усердно просить и кланяться вместе с женой, чтоб воротили Наташу, хотел сам идти за нею, что Болдухины не могли отказать горячим просьбам хозяев и послали своего лакея сказать гувернантке, чтоб она с барышней воротилась. Наташа пришла; щеки ее от ходьбы разгорелись, и она была поистине чудно хороша. Солобуевы не знали, как приласкаться, как чествовать и где посадить своих гостей. Явился сын, молодой человек небольшого роста, бледный, худой, с каким-то стариковским

выражением в чертах лица, впрочем весьма приятного, с какой-то лихорадочной живостью в глазах и быстротой в движениях. Он говорил принужденно и скоро, на Наташу почти не взглянул, и Наташа его даже не заметила; ею занимался с увлечением старик Солобуев: говорил почтительные похвалы и любезности, потчевал конфетами, мороженым, фруктами, которых надо было доставать за сто верст, — и добродушная Наташа, видя к себе такое внимание и любовь от старика, сердечно его полюбила. Несколько раз Болдухины собирались домой, но Солобуевы так усердно кланялись, так усердно просили «посидеть еще немножко», что Варвара Михайловна хотя внутренне сердилась, но отказать таким просьбам не имела духа. Надобно признаться, что во всех этих учтивостях и ласках, угождениях и угощениях слышалось что-то купеческое и тягостное. Наконец, Болдухины решительно распрощались и ушли; старик Солобуев с сыном провожали дорогих гостей до половины дороги, и едва упростили их Болдухины, чтоб они воротились домой. Василью Петровичу и особенно Варваре Михайловне

не понравились ни старуха, ни сынок: Мавра Васильевна показалась им безответной купчихой, а Афанасий Флегонтович — хворым и невнимательным вертопрахом; о старике Солобуеве они отзывались благосклоннее, а Наташа хвалила его от всей души, как умела, и сказала, что она полюбила его, как родного. Дня через два старики Солобуевы приезжали к Болдухиным шестерней в карете, а сын их, в одно время с ними, — четверкой в коляске, но хозяев не застали дома. Такой парад был очень смешон, и все водное население смотрело на него, как на забавное чудачество: на водах все попросту ходили друг к другу пешком или ездили на домашних дрожках и долгушах. Старика Солобуева, с распущенными белыми волосами по плечам, прозвали на смех водяным старцем, и одна только Наташа огорчалась этой шуткой, очень горячо защищала и хвалила доброго старика.

Чрез неделю, по каким-то особенным хозяйственным обстоятельствам, Болдухины собрались в несколько часов и, ни с кем не простившись, уехали с Серных Вод. Так кончилось знакомство их с Солобуевыми.

Воротясь в свое село, что было в исходе июля, Болдухины занялись своим деревенским хозяйством и совершенно забыли про богачей Солобуевых, с которыми так оригинально познакомились на Сергиевских Водах. Одна Наташа сохраняла в доброй и благодарной душе своей теплое и свежее воспоминание о старике Солобуеве, Флегонте Афанасьиче.

В продолжение этого года красота Наташи, старшей дочери Болдухиных, достигла полного своего блеска. Ей исполнилось шестнадцать лет. Я не стану описывать черты ее прекрасного лица, цвета ее глаз и волос; скажу только, что она была так хороша, что всякий, увидав ее в первый раз, невольно останавливался, заглядывался на нее и никогда не забывал. В лице Наташи было то, что гораздо выше, могущественнее самой красоты, — это было выражение душевной прелести, скромности, чистоты, благородства и необыкновенной доброты. Этому выражению нельзя было противиться; человек самый грубый и холодный подвергался его волшебному влиянию и, поглядев на Наташу, чувствовал какое-то



смягчение в черствой душе своей и с непривычной благосклонностью говорил: «Ну, как хороша дочка у Василья Петровича!» Одна Наташа не то чтобы не знала, — не знать было невозможно, — но не ценила и не дорожила своей красотой; она до того была к ней равнодушна, что никогда мысль одеться к лицу не приходила ей в голову; наряд ее был небрежный, и она даже не умела одеться. Наташа имела от природы здравый и светлый ум, чуждый всякой мечтательности, но нисколько не развитый ни ученьем, ни образованием, ни обществом. Чему было научиться от старухи гувернантки Фуасье, которая плохо знала грамоте по-французски? Какого развития можно было ожидать от постоянных бесед с нею, когда ее собственное развитие было нисколько не выше, если не ниже, развития Евъеши, Наташиной горничной? Г-жа Болдухина, сама не получившая никакого образования, была женщина не глупая и горячая; но она держала Наташу до сих пор в совершенном отдалении и только недавно начала приближать к себе. Наташа имела глубоко нежное сердце, но без всякого нежничанья, и сен-

тиментальность по инстинкту ей была противна. Доброта ее была беспредельна и вполне развита от самых детских лет. Много чужих вин перебрала она на себя и много за них вытерпела от вспыльчивой и долго не любившей ее матери. Без преувеличенья можно сказать, что весь дом смотрел на нее как на ангела. Во многом Наташа была беспечное дитя; можно было подумать, что она и останется такою. Впереди не было надежды на образование; но суровая школа жизни, с мудрыми своими уроками, ждала ее у порога родительского дома.

Прошел август, наступил сентябрь; все было тихо и спокойно в селе Болдухине; деревенские занятия и деревенские удовольствия шли своей чередой. Варвара Михайловна Болдухина хозяйничала по своей части, то есть заботилась о приготовлении впрок всяких домашних запасов: соленья, моченья, сушенья; много было засушено ягод и грибов, много наварено варенья, много заготовлено разных пастил, медовых и сахарных, на окошках и лежанках много наставлено бутылей с разноцветными наливками. Хозяйство Василия

Петровича было поважнее, посущественнее: давно убрались с огромным количеством сена, кончили ржаное жнитво, началась и возка ранней, лучшей ржи, дожинали яровое. Шевалье де Глейхенфельд и мадам де Фуасье усердно занимались ученьем детей. Наташа, которую за доброту, а может быть и за красоту, все в доме чуть не обожали, начиная с мусье и мадам до последнего слуги и служанки, спокойно и беззаботно проводила время, хотя не имела никакой склонности к деревенским занятиям и удовольствиям, не любила даже гулять и как-то не умела восхищаться красотами природы; училась она не слишком прилежно, но в то же время и не ленилась. Не думая о своей наружности, не думая никому нравиться, она, казалось, хорошела с каждым днем.

Вдруг однообразное, невозмутимое спокойствие деревенской жизни Болдухиных было возмущено следующим обстоятельством: привезли, по обыкновению во вторник, письма и «Московские ведомости» из уездного городишки Богульска, отстоявшего в сорока пяти верстах от села Болдухина. Известно, что

получение почты весьма приятное и даже важное событие в деревенской глуши. Василий Петрович, взяв все шесть полученных писем и газеты, отправился в спальню к Варваре Михайловне, чтоб там распечатать их и вместе прочесть. Варвара Михайловна, как женщина, была более любопытна, да и характером поживее, чем ее супруг. Она сейчас перебрала все конверты и нашла два письма, надписанные неизвестною рукою и запечатанные неизвестными печатями, а потому захотела прочесть их прежде других писем. Василий Петрович распечатал одно и читал следующее:

*«Милостивый государь Василий Петрович и милостивая государыня Варвара Михайловна! Имев честь и удовольствие познакомиться с вами и любезнейшею дочерью вашею, Натальей Васильевной, сего текущего года, в прошедшем июле месяце, на Серных Водах, мы с Маврой Васильевной, а равно и сын наш, Афанасий Флегонтович, по внушению божью, возымели непреложное намерение достигнуть счастья, породниться с вами. Наидостойней-*

шая, наилюбезнейшая и наипрекраснейшая дочь ваша, Наталья Васильевна, с той самой поры, как я, старик, ее впервые увидел, показалась мне Божиим благословением для нашего сына, о коем я молился и молюсь и денно и ночно господу богу. Старуха моя и сын то же ощутили, когда увидели Наталью Васильевну. Итак, милостивые государи, рекомендуя вам нашего единственного сына и единственного наследника всех моих имений и капиталов (ибо дочери мои при замужестве отделены и награждены; ценность же моего состояния может простираться до семи миллионов рублей), просим у вас руки достолюбезнейшей Натальи Васильевны для нашего сына. Если господу будет угодно благословить наше желание и получить ваше родительское согласие, а равно и согласие любезнейшей дочери вашей, то заверяю вас клятвенным обещанием, что все дни живота моего будут направлены на то, чтобы день и ночь заботиться о том, чтоб каждое желание Натальи Васильевны угадывать и исполнять, и все мое счастье будет состо-

*ять в том, чтоб она была счастлива, в чем, при помощи милосердного творца, надеюсь успех получить.*

*На сие письмо наше просим благосклонности и неукоснительного ответа. Поручая себя, мою старуху и сына нашего, Афанасия Флегонтовича, вашему милостивому благорасположению, с чувствами совершенного почтения и преданности имеем честь быть, милостивые государи, вашими покорнейшими слугами Флегонт Солобуев, Мавра Солобуева, Афанасий Солобуев».*

Хотя сватовство к такой красавице, как Наташа, могло назваться делом весьма обыкновенным, но Болдухины были им озадачены и удивлены. В их глазах шестнадцатилетняя Наташа была еще девочкой, а не невестой. Много людей восхищалось ее красотой, но формальное предложение получила она в первый раз, да еще от какого богача! Они вторично прочли оригинальное письмо, и у Варвары Михайловны, несмотря на то, что богатство жениха сильно ее подкупало, вырвалось несколько неблагоприятных отзывов. «Вот

еще, — говорила она, — отдать дочь за пятьсот верст на чугунные заводы, в вятские леса. Да и жених какой-то хворый и никакого внимания на Наташу не обратил. Это старику она понравилась, он ее боготворит, он и дело ладит. Флегонт Афанасьич, конечно, хороший человек, ну и Мавра Васильевна добрая женщина, и, конечно, будут Наташу на руках носить, а сына их мы вовсе и не знаем...» Нить таких рассуждений была прервана любопытством прочесть другое неизвестное письмо. Василий Петрович распечатал его и читал следующее:

*«Милостивый государь Василий Петрович и милостивая государыня Варвара Михайловна!*

*Позвольте приступить к делу без околичностей. Вы знали моих покойных родителей, изволите знать и меня с сестрой с самого детства; но до последнего свидания нашего на Серных Водах я двенадцать лет не имел чести вас видеть. Наконец, я увидел вас на серных источниках; вы меня не узнали и не могли узнать. Там же я увидел несравненную вашу дочь, Наталью Ва-*

сильевну, — и с тех пор благородный и прекрасный образ ее живет в моей душе. Внезапный ваш отъезд с Серных Вод, за два дня до которого я туда приехал, лишил меня возможности явиться к вам для засвидетельствования моего глубочайшего почтения. Привыкнув подчинять мои поступки разуму и не доверяя прочности минутного увлечения, я, со всею силою воли, с лишком два месяца предавался усиленным занятиям, и хозяйственным и умственным, стараясь затмить очаровательный образ вашей дочери; но, наконец, убедился, что это невозможно, что судьба моя решена. Позвольте мне, милостивые государи, явиться в ваш дом не только как сыну ваших старых знакомых, но и как человеку, который ищет у вас счастья своей жизни, руки вашей дочери. Вы знали меня еще мальчиком; Наталья Васильевна не знает меня вовсе: вам всем нужно познакомиться со мною ближе. Тогда уже от моих личных качеств будет зависеть, признаете ли вы меня достойным назваться вашим преданным сыном, изберет ли Наталья Васи-



*льевна меня вечным себе другом, который страстно полюбил ее с первого взгляда.*

*С глубочайшим почтением и совершенною преданностью честь имею быть вашим, милостивые государи, покорнейшим слугою Ардальон Шатов».*

Чтение второго письма поразило Болдухиных более первого. Василий Петрович самодовольно улыбался и, наконец, сказал: «Вот какова наша Наташа; вот, как говорится: не было ни деньги, да вдруг алтын. Оба жениха отличные, только Наташа-то не похожа на невесту. Когда она узнает о намерении Ардальона Семеновича, ее и в гостиную не вытацишь». — «Да ей и сказывать не надо, — подхватила Варвара Михайловна. — Ардальон Семенович будет ездить к нам, как к старым знакомым». — «Ну, а что же отвечать Солобуевым?» — спросил Василий Петрович. Варвара Михайловна призадумалась. Семимиллионное состояние сильно тянуло к себе обоих стариков и льстило их тщеславию и любви к богатству; да и кто же его не любит? Они решились не держать этого сватовства в секрете и

даже сказать о нем Наташе. Впрочем, они отложили всякое действие по этим письмам до тех пор, покуда обдумают хорошенько, не торопясь, такое важное дело.

Обдумыванье было непродолжительно. На другой же день Варвара Михайловна доказала Василью Петровичу, как дважды два — четыре, что женихов и сравнивать нельзя, несмотря на то, что один в семь раз богаче другого. «Солобуев, — говорила Варвара Михайловна, — увезет Наташу за пятьсот верст в лесную <глушь>, на заводы, из которых и день и ночь полымя пышет, так что и смотреть, говорят, страшно; а Шатов нам сосед, и ста верст не будет до его имения. Он первый жених в нашей губернии, хозяин, даром что молод. Доходу, говорят, получает по сту тысяч: будет с них. Один хворый, какой-то сморчок, а другой кровь с молоком и красавец; у одного отец и мать, а другой один как перст; есть сестра, да уже и ту, говорят, женихи сватают. В семью ли выходить под команду свекра и свекрови, или быть полной госпожой в доме?» Тут Василий Петрович не вытерпел и сказал: «Уж это, матушка, не резон. Флегонт

Афанасьич и Мавра Васильевна стали бы Наташу, как свежее яичко, на ладонке носить, да и сынок бы никогда не посмел на нее косо взглянуть или ей поперечить. По-моему, так при стариках лучше пожить: добру поучат, да и в хозяйство введут». Разумеется, Варвара Михайловна не согласилась и утверждала, что это всему свету известно, что никто, кроме Василья Петровича, не скажет, будто одинокий жених хуже семейного. Впрочем, на все другие причины Василий Петрович был совершенно согласен, а потому и были написаны два письма: к Солобуевым весьма учтливое и ласковое, что покорнейше благодарят за честь, но что дочь еще ребенок и о замужестве не думает, да и сынка их совершенно не знает; к Шатову письмо было коротенькое: «Благодарим за честь и милости просим».

Болдухины как придумали, так и поступили. Позвали к себе Наташу, и Варвара Михайловна постаралась растолковать ей, что она уже не ребенок, что она уже девушка-невеста, что ей надо более заботиться о своей наружности, глаже причесывать свою голову, лучше одеваться, более обращать внимания на

молодых людей, на их с нею обращение и разговоры, и самой быть осторожнее в словах и не говорить всякий домашний вздор, какой придет в голову, а быть со всеми ласковой, внимательной и любезной. Встревоженная и смущенная Наташа плохо поняла первый урок житейской мудрости и со всею искренностью, с детским простодушием отвечала, что она о женихах и думать не хочет, да и на ней никто жениться не думает. Отец с матерью переглянулись, усмехнулись и, чтобы убедить Наташу в противном, прочли ей письмо Солобуевых, с разными примечаниями и объяснениями, разумеется, не в пользу Афанасью Флегонтовичу. Старики ожидали, что Наташа не захочет и слышать о таком женихе, который живет далеко, в каких-то лесах, который на нее и взглянуть не хотел и которого Варвара Михайловна не преминула назвать хворым и сморчком (это выражение ей понравилось, и она его часто употребляла). Но родители были очень изумлены, когда Наташа призадумалась, прочитав письмо, никакого нерасположения или неприятного чувства к предложению Солобуевых не показала,

а тихо и скромно промолвила, что Афанасья Флегонтовича она почти не видала, но что он не показался ей хворым и противным, а, напротив, веселым человеком и что старика Флегонта Афанасьича она так полюбила, что за него согласилась бы выйти замуж...

Болдухины расхохотались, а Наташа как будто огорчилась и спросила: что же отвечали Солобуевым. Ей показали ответ, и она как будто обрадовалась, что в нем не было совершенного отказа, и вдруг, немного подумав, с ясным взором сказала: «Они приедут к нам в Болдухино?» Василий Петрович возразил, что этого быть не может, что никакой жених, не только такой богач, не поедет на смотр за пятьсот верст с тем, что, может быть, ему затылок забреют. Наташа не поняла последнего выражения; ей объяснили; но она осталась при своем мнении, что Флегонт Афанасьич непременно приедет, потому что очень ее любит и что это видно из письма. Старики повторили, что это совершенный вздор, и велели ей идти в свою комнату. Наташа более не противоречила и, уходя, робко попросила письмо Солобуевых, желая прочесть его в

другой раз и даже списать. Василий Петрович поглядел на нее с удивлением и отдал ей письмо.

Шатову назначено было приехать через неделю. Варвара Михайловна, которая бог знает почему не благоволила к Наташе до совершенного ее возраста, а с некоторого времени, также бог знает почему, начинала ее горячо любить, которая даже не замечала прежде необыкновенной красоты своей дочери и только узнала о ней по тому впечатлению, которое Наташа стала производить на всех мужчин, Варвара Михайловна, после двух предложений от таких блестящих женихов, вдруг почувствовала материнское тщеславие и особенную нежность. Гордость иметь такую дочь-красавицу росла в ней с каждым днем. Она и просила и требовала, чтоб Наташа к лицу одевалась, убирала голову, не горбилась (у Наташи точно была привычка немножко горбиться, отчего она казалась сутуловатой); требовала вкуса, уменья, охоты к нарядам — и не видя ничего этого, сердилась и строго поступала с дочерью.

Бедная Наташа! И красота, этот божествен-

ный дар, сделался для тебя тяжелым бременем, причиною огорчений и слез! Убедившись, что Наташа не из упрямства, а просто от неумения не выполняет требований матери, Варвара Михайловна сама принялась одевать и причесывать свою дочь, потому что смолоду г-жа Болдухина имела расположение и вкус одеваться к лицу и щеголевато. Несмотря на то, что требования Варвары Михайловны были, с одной стороны, тяжелы для Наташи, Наташа была очень обрадована тем, что мать стала обращать на нее внимание. Материнские требования г-жи Болдухиной в то же время сопровождались горячими ласками и такою нежностью, какой Наташа никогда не испытывала. Она же, напротив, будучи нелюбимой дочерью, страстно любила мать и хотя по доброте своей не завидовала, но сердечно огорчалась, видя, как ее маменька бывала иногда нежна, заботлива и ласкова к ее братьям и сестрам, особенно к братцу Петруше. Наташа со слезами молилась богу, чтобы мать ее так же полюбила, и готова была на всякую жертву за одно нежное слово своей матери.

Само собою разумеется, что в последнюю неделю перед приездом Ардальона Семеновича Шатова Варвара Михайловна муштровала Наташу уже от утра до вечера. Каждый день она заставляла ее одеваться нарядно, как бы ожидая гостей или выезжая в гости. Наташа удивлялась и ужасно скучала таким принуждением. Она думала избавиться в деревне от вытяжки и корсетов, думала отдохнуть от Серных Вод, и точно начинала отдыхать, как вдруг проклятые наряды пошли в ход больше, чем на Серных Водах! В целом доме происходило общее, хотя не суетливое, охорашивание, принаряживание, так сказать: чище мебели комнаты, старательнее снимали с потолков паутины, чище стирали пыль с мебели красного дерева, натертой воском; опрятнее одевались лакеи и горничные; подсвечники и люстры были вымыты, намазаны чем-то белым и потом вычищены. Такое незаконное нарушение патриархальной деревенской беспечности не могло не обратить на себя внимание прислуги и самой Наташи. Ничего не зная, она и все в доме стали кого-то или чего-то ждать. Наконец, в назначенный день,



часа за два перед обедом, приехал Шатов в щегольской коляске на шестерне гнедопегих славных лошадей. В этот день уже с раннего утра знала лакейская, девичья и вся дворня, что приедут какие-то важные гости, потому что барыня заказала повару такой стол, какой готовился для гостей только первого разбора; когда же подкатила к крыльцу коляска Шатова, все в один голос сказали: «Это жених приехал».

Ардальон Семеныч Шатов был весьма недюжинный молодой человек. Хотя он пробыл в губернской гимназии только один год, но считался там лучшим учеником в средних классах. Отчего взяли его так скоро — неизвестно. Зато он получил хорошее домашнее образование; у них в доме жил учителем, и теперь продолжал жить уже другом, один малороссиянин, очень умный и научно образованный человек. Разумеется, ученость его была весьма односторонняя, как у всех киевских бурсаков. Каким образом судьба занесла его с юга России на северо-восток — не знаю, но, без сомнения, попал он сюда не по доброй воле. Властолюбивый бурсак еще при жизни

старика Шатова сделался оракулом в доме, а по кончине его стал уже полновластным господином. Жить ему было очень привольно: кроме всяких существенных выгод и удобств (а он любил хорошо покушать и выпить стакан старого вина), он мог удовлетворять вполне своей духовной, высшей потребности, мог выписывать книг сколько угодно. Много лет прожив в бедности, он был лишен возможности следить за ходом и успехами просвещения, а потому дорого ценил умственное наслаждение, которое доставляла ему библиотека, собираемая им для молодого Шатова. Он был либерал, вольтерьянец по тогдашнему выражению; философы осьмнадцатого столетия были его единственными божествами. С полною добросовестностью наставник передал своему питомцу все свои знания, все убеждения и верования; как упрямый малоросс, он старался преимущественно развить в Ардальоне (так звал он своего воспитанника и теперь) *силу воли*, ошибочно или нет предполагая, что ее мало в флегматическом ребенке, — и он успел в том. Как только дорос Ардальон лет до девятнадцати, он начал прояв-

лять силу воли, не всегда слушаясь своего наставника и даже поступая иногда умышленно ему наперекор, хотя был очень к нему привязан. Так, например: наставник, любя, одобряя и поощряя в других ружейную охоту, ненавидел псовую, не мог видеть борзой собаки; а воспитанник, будучи в то же время страстным стрелком, завел огромную псарню и наполнил дом долгорылыми псами, противными его воспитателю. Подобных доказательств воли, или, лучше сказать, претензии на силу воли, было много, но для нас довольно и одного доказательства. Малоросс сначала хотел было повернуть делом круто, вздумал было расстаться с своим Телемаком, поугаать его; но Телемак очень равнодушно принял такое намерение рассердиться и, позвав человека, приказал готовить экипаж для своего Ментора. Разлука была для обоих слишком тяжела. Пошли переговоры, соглашения, уступки, и дело кончилось тем, что Ментор остался жить у Телемака уже не в качестве наставника, а совершенно равного ему приятеля, не имеющего никакого влияния на образ его жизни. В таком положении жили они очень дружески

в настоящую минуту. Разумеется, что Ардальон свысока поглядывал на окружающее его общество невежд — помещиков и чиновников, которое, должно признаться, всегда было гораздо ниже его. Это развило в нем, вероятно, природную склонность к резонерству: сентенция, наставление сейчас являлись у него на языке; а как все это делалось не живо, не было горячим, задушевым увлечением, то и было скучно. Ардальон Семенович, будучи скрытен от природы, начитался в каком-то швейцарском философе, что разумный человек не должен раскрывать внутренность души своей перед невежественной толпой, а, напротив, должен согласоваться наружно с взглядами и убеждениями окружающих его людей; а потому он сознательно, законно позволял себе надевать в обществе довольно разнохарактерные маски, не делаясь через то обманщиком и лицемером, а, напротив, оставаясь правдивым, честным человеком, всегда верным своему слову. Он даже говорил: «Маска не изменяет лица, актер не делается плутом, играя роли мошенников». Управляясь вот такими-то афоризмами, Арда-

льон Семеныч переломал, так сказать, всю свою природу, и у него невозможно было различить, что выходило из души и что из головы. Влюбясь с первого взгляда, как говорится, по уши в Наташу и построив уже план воспитать или, если понадобится, перевоспитать ее по-своему, явился он в Болдухино. Надобно сказать, что было особенное обстоятельство, которое много способствовало обаятельному впечатлению, произведенному красотой Наташи на сердце Ардальона Семеныча. Приехав на Серные Воды, он на другой же день вместе с своими приятелями пошел посмотреть, как приходят серноводские посетители и посетительницы на водопой (по выражению молодых насмешников) к целебным источникам и пьют холодную, как лед, и прозрачную, как кристалл, но вонючую серную струю. В самое это время пришла туда же г-жа Болдухина с мужем и с дочерью. Шатов, пораженный красотой девушки, стоя в нескольких шагах, устремил внимательные взоры на каждое ее движение; Варвара Михайловна, выкушав свои четыре стакана серной воды, подала стакан дочери. Наташа, заметив, что

стоящие возле них молодые люди внимательно глядят на нее, и сообразив, что они, верно, будут смеяться и говорить: «Зачем такая здоровая девушка пьет такую гадость», — осмелилась тихим голосом сказать матери: «Позвольте мне сегодня не пить воды!» Но г-жа Болдухина строго на нее взглянула и сказала: «Пей!» Наташа с ангельской кротостью, без малейшего признака неудовольствия, взяла стакан, наклонилась к источнику и выпила два стакана не поморщась (хотя вода была ей очень противна) и с спокойной веселостью пошла за своей матерью. Шатов все заметил, все слышал; он был пленен, очарован и вывел справедливое заключение, что эта бесподобная красавица в то же время олицетворенная кротость и благодать.

Первым делом Ардальона Семеныча было — понравиться старикам, и это было нетрудно. Красавец собой, степенный не по летам, рассуждающий обо всем скромно, разумно, говорящий плавно и складно, с уважением относившийся к старинным обычаям, нравам, верованиям и даже предрассудкам, молодой человек в несколько часов привел в

восхищение Болдухиных. Такого жениха Наташе, такого зятя им во всех отношениях нельзя было выдумать. Узнав, что Наташа не знает об его предложении, Ардальон Семеныч просил не говорить ей ни слова до его отъезда. Он хотел, чтобы первое впечатление молодой девушки было совершенно свободно; Шатов надеялся понравиться также и Наташе; но это было не так легко, как он думал. Во-первых, потому, что для Наташи всякое новое знакомство, сопровождаемое принуждением, было тягостно; во-вторых, мать так шумно хлопотала о ее наряде, особенно о прическе волос, с которыми наша красавица никогда не умела сладить, так сердилась на горничную барышни, очень любимую ею Евьешу, что Наташа почувствовала досаду на гостя, для которого, очевидно, подняты были все эти требования, шум и хлопоты; в-третьих, г-жа Болдухина не умела скрыть своего радостного волнения, до того хвалила приезжего гостя и особенно его красноречие, что робкой Наташе, которая искренно признавала себя за простую деревенскую барышню, сделалось как-то неловко и даже страшно

явиться на смотр и на суд такого умника и красноречивого говоруна. Но делать было нечего, и Наташа за час до обеда вышла в гостиную. Шатов приветствовал ее почтительным поклоном и таким взглядом, который объяснил бы все дело, если б Наташа не была так невинна. Взгляд этот, однако, смутил ее, и смутил неприятно. Гость сначала продолжал разговаривать с стариками, иногда посматривая на Наташу, которая с любопытством и вниманием устремила на него свои чудные глаза и слушала его плавные речи; от каждого взгляда молодого человека она краснела, опускала глаза и начинала внимательно рассматривать свои руки, которые у нее были не так хороши и не сохранены от воздуха и солнца. Красота Наташи с каждым мгновением сильнее и сильнее очаровывала Шатова; он, наконец, поддался непреодолимому влечению и устремил на девушку уже неотрывающиеся взоры и заговорил с нею, к собственному его удивлению, весьма нетвердым голосом и совсем не так складно и свободно, как он говорил всегда. Наташа была неразговорчива с незнакомыми людьми и всегда несколько



застенчива; теперь же она была особенно смущена, а потому ответы ее были самые односложные: по большей части да или нет, хочу или не хочу, люблю или не люблю. Шатов ободрился. Речь его полилась полной рекой, и это были уже не пошлые вопросы: как вы проводите время, много ли гуляете, не скучаете ли деревенской жизнью? Тут уже выражалось его собственное воззрение на общество, на отношения молодой девицы к окружающей ее среде, на впечатления деревенской природы, которые так благодатно ложатся на молодое сердце, на необходимость образования и чтения и пр. и пр. Наташа многое неясно понимала, потому что много было употреблено выражений книжных или литературных, которых она и не слыхивала; она инстинктивно почувствовала только, что ей читают какую-то проповедь; ей стало скучно, и она очень обрадовалась, когда старый буфешник, как звал его Морс Иваныч, доложил, что кушанье поставлено. Гость подал руку хозяйке, которая посадила его подле себя. За столом поместились несколько человек детей постарше, мадам де Фуасье и шевалье де

Глейхенфельд. Наташа стрекнула было под защиту своей гувернантки, возле которой всегда сидела за обедом, но мать глазами указала ей место подле себя, прямо против приезжего гостя. Робкая, застенчивая Наташа смутилась и покраснела до ушей. Во-первых, она никогда на этом месте не сиживала, а во-вторых — сидеть против молодого человека, приехавшего в первый раз, никому не известного, который беспрестанно смотрит на нее какими-то странными глазами и который непременно будет с ней разговаривать, а она не будет знать, что и отвечать ему, — все это вместе казалось Наташе чем-то даже страшным. Она очень знала, что ее перемещение с обыкновенного места возбудит общее внимание, толки, догадки, насмешки. Нечаянно взглянула она на Морица Иваныча, и его лукавая улыбка окончательно ее сконфузила; она так растерялась, что готова была заплакать и убежать; но страх прогневать мать, которая бросала на нее выразительные взгляды, преодолел все другие чувства, и Наташа овладела собой. По счастью, Шатов, как видно, с дороги очень проголодавшийся, сначала ис-

ключительно занялся первыми блюдами и только односложными словами отвечал на потчеванье г-жи Болдухиной. Наташа решилась последовать его примеру и, вовсе не чувствуя аппетита, забыв все свои привереды в выборе пищи (вкус у нее был весьма исключительный), принялась кушать даже те блюда, которых она никогда не ела. Разумеется, все свои это заметили, улыбались и даже перешептывались. Румяный гость раскраснелся еще больше и, удовлетворив своему аппетиту, пустился разговаривать сначала с стариками, а потом и с Наташей; но, по счастью, разговор вертелся около предметов самых обыкновенных, и обед прошел благополучно. Наташа проворно ускользнула в свою комнату и, наконец, вздохнула свободно; но не надолго: пришла мадам де Фуасье с своими вопросами, догадками и объяснениями. Гувернантка была в восхищении от молодого человека, хотя он ни одного слова не сказал по-французски, а по-русски она ни слова не понимала. Наташа, однако, начала догадываться, о чем идет дело; но не успела она высказать своей гувернантке, отчего молодой

гость ей не нравится, как прибежала маленькая ее сестра и принесла приказание матери, чтобы Наташа пришла в гостиную. Наташа повиновалась без ропота и пошла ту же минуту, но еще с большей неохотой и нерасположением к гостю, чем до обеда. Шатов встретил молодую девушку уже с полною свободой, как знакомую, сел подле нее и пустился в разговоры, в которых уже не было выведываний и вопросов: что думает Наташа о том-то, как смотрит она на то-то?.. Шатов высказывал себя, свои взгляды, свои понятия, стараясь объяснить, отчего они так часто находятся в прямом противоречии со взглядами и мнениями, принятыми в обществе, и по-прежнему Наташе многое было непонятно и все вообще скучно. Она очень любила общество, любила разговоры людей веселых и живых, любила шутки и смех, любила, чтоб ее заставляли хохотать, а не задумываться, любила простые речи о вещах ей доступных; а Шатов говорил протяжно, плавно, последовательно, очень складно и умно или по крайней мере рассудительно, но зато безжизненно, вяло, утомительно и беспрестанно сбивал-

ся на книжные, отвлеченные предметы. Одним словом: нечему было улыбнуться, и он надоед Наташе.

Жаркий, настоящий летний день, несмотря на исход августа, переходил в освежительный вечер. Все семейство собралось гулять. Молодой человек предложил руку Наташе; она изумилась, взглянула на мать и, прочитав в ее глазах согласие, подала свою руку. Но лишь только вышли они в сад, Шатов попросил позволения воротиться: он вспомнил, что ему надобно переменить сапоги, надеть сюртук и калоши и заткнуть свои уши хлопчатой бумагой... Ну, что бы, казалось, тут за преступление? Что за важность, что за беда? Шатов за несколько месяцев вытерпел жестокую нервную горячку и боялся простуды от вечернего воздуха, а притом местоположение Болдухина было довольно сырое. Правда, воздух был зноен, и все общество, старики, старухи и дети пошли гулять в тех же платьях, какие на них были, радуясь прохладе; правда, Наташа шла с открытой шеей и с голыми руками, в самых тоненьких башмачках; правда, было немного смешно смотреть на румяного, пол-

ного, пышущего здоровьем Шатова, который, ведя под руку девушку, в своем толстом сюртуке и толстых калошах, потел и пыхтел, походил на какого-то медведя, у которого, вдобавок ко всему, торчали из ушей клочья хлопчатой бумаги... но все же тут нет никакого преступления; но не так думают молодые девушки, гораздо постарше Наташи, а следовательно, и порассудительнее. И Наташа думала не так: в глазах ее Шатов погиб невозвратно. Он показался ей чудаком, трусом, который только и заботится о себе, боится простудить ноги и уши в жаркую погоду, беспокоится о своем здоровье, когда сам здоров, как бык, который любит только себя, а других и любить не может, который не мог забыть о своих калошах и хлопчатой бумаге, в первый раз ведя за руку девушку, по-видимому им страстно любимую (Наташа догадалась уже, что Шатов влюблен в нее). Она оглянулась на всех, и все, кроме отца и матери, не могли удержаться от смеха, глазами указывая на ее смешного кавалера, а кто смешон, не смеша, тот, конечно, не понравится молодой девушке.

Я не стану следить за всеми подробностями-

ми, за всю последовательность этих мелких впечатлений, которые в массе производят самое сильное, самое прочное действие; с ним не могут сравниться никакие поразительные явления, производящие, по-видимому, сильный эффект. Так мелкий, но постоянный дождь гораздо глубже увлажняет почву, нежели ливень, мгновенно набежавший, мгновенно пролетевший. Я скажу только, что после прогулки, вечернего чая и ужина Наташа была уже вся проникнута полным нерасположением к Шатову, способным дойти до отвращения. За ужином она сидела как на иголках, ничего не могла есть, и сердечное беспокойство выражалось на ее прекрасном лице. Встав из-за стола, она упросила мать отпустить ее с дежурства из гостиной, говоря, что у ней разболелась голова; мать позволила ей уйти, но Шатов просидел с хозяевами еще часа полтора, проникнутый и разогретый чувством искренней любви, оживившей его несколько апатичный ум и медленную речь; он говорил живо, увлекательно, даже тепло и совершенно пленил Болдухиных, особенно Варвару Михайловну, которая, когда Арда-

льон Семеныч ушел, несколько времени не находила слов достойно восхвалить своего гостя и восполняла этот недостаток выразительными жестами, к которым только в крайности прибегала. После короткого разговора с своим супругом о том, что Наташа догадалась и что надобно с нею переговорить о всем откровенно, она вошла в комнату Наташи и, видя, что она еще не спит, позвала ее к себе в спальню. Наташа немедленно оделась и пришла к матери. Она предчувствовала, что разговор будет о Шатове, и затруднялась, как отвечать, если мать спросит: «Нравится ли он ей?» Она хорошо уже поняла, что отцу и матери Ардальон Семеныч очень нравится. Наташа с робостью переступила высокий порог в комнате своей матери. Варвара Михайловна, не скинув даже чепчика и шали, с какою-то торжественностью сидела в креслах, ожидая с видимым нетерпением дочери. Лишь только вошла Наташа, Варвара Михайловна бросилась ей навстречу, с горячностью обняла и со слезами принялась целовать голову милой своей дочери, лаская ее нежными словами, столь красноречивыми в устах матери. Вслед



за таким вступлением полились восторженные речи, содержанием которых была пламенная радость матери, что такой редкий молодой человек, как Ардальон Семеныч, осыпанный от бога всеми дарами, страстно любил Наташу и просит ее руки. Варвара Михайловна не забыла, но не могла сдержать своего обещания не объясняться с дочерью до отъезда Шатова, это мы уже знали; впрочем, она помнила об этом, и потому, исполняя отчасти обещанное: не спрашивать невесту, нравится ли ей жених, она описывала только яркими красками будущее их счастье и заключила тем, что она сама будет тогда совершенно счастлива, когда ее милая, добрая Наташа сделается женою Ардальона Семеныча. Расстроенная до глубины души, робко, но всегда страстно любившая свою мать, Наташа пришла в безумный восторг от одной мысли, что от нее зависит счастье матери, — матери, для которой она была готова пожертвовать даже жизнью. Наташа мгновенно забыла все неприятные впечатления, произведенные на нее молодым Шатовым; в эту минуту она не понимала, не чувствовала их и с радостным

увлечением, осыпая поцелуями и обливая слезами руки своей матери, твердым голосом сказала: «Успокойтесь, милая маменька, вы будете счастливы: я согласна, я желаю выйти замуж за Ардальона Семеныча!» Варвара Михайловна не удивилась такому скорому согласию своей дочери; ей в голову не входило, чтоб Шатов мог не понравиться Наташе; но тем не менее она очень обрадовалась и еще с большею горячностью, еще с большей нежностью прижала к сердцу свою милую дочь. Переполненная счастьем душа матери почувствовала потребность, необходимость молитвы. Варвара Михайловна растворила кивот с богатыми образами, перед которыми день и ночь теплились три лампы, стала вместе с Наташей на колени и успокоила свое взволнованное сердце сладкими, тихими слезами благодарности к богу. Наташа так же радостно молилась, и никакая тень сомнения не мелькала в ее голове. В эту минуту вошел Василий Петрович, которого задержали какие-то домашние хозяйственные распоряжения и дела. Он сначала удивился неожиданному зрелищу, но Варвара Михайловна по-

спешила рассказать ему все, и добрый старик, также очень полюбивший Шатова и также обрадованный согласием дочери, так же искренно помолился вместе с ними. Варвара Михайловна, утомленная сильным, хоть и радостным волнением, заметя, что и Наташа как-то переменялась в лице, и вспомнив про ее головную боль, поспешила приказать ей проститься с отцом и идти спать. Старик поцеловал и перекрестил Наташу с особенным чувством. Варвара Михайловна сама проводила свою дочь в ее тесную девичью комнату, заставила при себе лечь в постель, сама повязала на ночь ее чудную головку пестреньким платочком, который шел Наташе к лицу лучше всякой великолепной головной уборки. Варвара Михайловна была поражена красотой своей дочери, как будто в первый раз ее разглядела, как будто в первый раз увидела в ночном пестреньком платочке. Она вновь расцеловала свою красавицу, перекрестила ее уже в третий или четвертый раз, и, наконец, ушла счастливая мать... Полная радостного чувства дочерней любви, кроме этого чувства все позабывшая, скоро уснула и

счастливая дочь.

На другой день поутру и мать и дочь проснулись рано. Варвара Михайловна, вспомнив случившееся, пришла еще в большее восхищение, чем вчера. Отдалившись от события несколькими часами сна, который в таких случаях важнее дней, проведенных в бдении, благодетельного сна, умирившего ее мысли и чувства, она яснее, сознательнее взглянула на настоящее свое положение и глубже почувствовала будущее. И, боже мой, какими радужными цветами засверкало оно перед ней!.. Вполне уверенная в счастии своей дочери, перед которою в глубине души признавала себя виноватою, удивляясь, не понимая, как она до сих пор так мало ценила и красоту, и ангельскую доброту, и безграничную дочернюю любовь своей Наташи, — она почувствовала сама такую нежность и любовь к ней, которая мгновенно овладела всем ее существом, перед которою побледнели все ее другие желания и привязанности, все горячие увлечения. Слезы раскаянья брызнули из ее глаз, и она снова обратилась к молитве и снова нашла в ней отрадное успокоение.

Между тем проснулся и Василий Петрович. Он также радостно припомнил вчерашний вечер, согласие Наташи и на этот раз искренно разделял все благоприятные надежды легко заносившейся в них до излишества Варвары Михайловны. Поговорив весело о приданом, которое по молодости Наташи не было приготовлено и за которым надобно было ехать или посылать в Москву, об отделе дочери и устройстве особой деревни, имеющей состоять из двухсот пятидесяти душ, о времени, когда удобнее будет сыграть свадьбу, Болдухины пришли к тому, как теперь поступить с Шатовым, которому дано слово не говорить с дочерью об его намерении до его отъезда. Варвара Михайловна хотела скрыть от него объяснение с Наташей и оставить его в заблуждении, что она ничего не знает; но Василий Петрович решительно воспротивился тому, утверждая, что надобно поступить с женой честно и откровенно и сказать ему всю правду. «Теперь обстоятельства переменились, — говорил он, — Наташа не может смотреть на Ардальона Семеныча, зная его намерения, как на обыкновенного знакомого. Да и

группы мы были, предполагая, что она не догадается. С первой минуты весь дом догадался. Когда это бывало, чтоб молоденькую барышню отрывали от ученья из классной и заставляли сидеть с молодым человеком в гостиной. Ведь это надобно вести совсем другим порядком, тогда бы и вчерашнего объяснения не было. Впрочем, дело уж сделано, и худого тут ничего нет». Варвара Михайловна чувствовала справедливость слов Василья Петровича и согласилась с ним беспрекословно. Впрочем, когда он говорил решительно, она не смела противоречить.

Комнатка Наташи горела яркими лучами недавно вошедшего солнца; проснувшись, Наташа удивилась такому блеску и свету, потому что обыкновенно просыпалась позднее, когда солнышко уходило уже за угол дома и только вкось освещало единственное ее окно, никогда не закрываемое ставнем. Первою мыслью Наташи была мать, мать, счастливая ее согласием выйти замуж за Ардальона Семеныча. Эта мысль так же озарила веселым светом ее душу, как солнце озаряло ее комнатку. Она вспомнила все выражения мате-

ринской горячности, нежные ласки и слова, радостные слезы, глаза, устремленные с любовью на дочь, и благодарные молитвы к богу. За несколько месяцев смела ли она мечтать о таком сближении с матерью, о такой ее любви, о возможности доказать ей свою детскую безграничную любовь и таким доказательством осчастливить обожаемую мать! Одно чувство благодарности к богу за обращение материнского сердца, пламенное желание быть достойной ее любви и теплая молитва сохранить эту любовь навсегда!

В таком-то настроении духа увиделись мать с дочерью. Наташе давно хотелось обнять свою маменьку; только без зова она не смела еще прийти; но Варвара Михайловна не заставила ее долго дожидаться: переговорив и условившись во всем с Васильем Петровичем, она сама пришла к дочери, и при первом взгляде они прочли в глазах друг друга взаимные чувства и желания. Между родителями решено было так: Варвара Михайловна скажет Ардальону Семенычу, что Наташа знает об его намерении, а потому по своей неопытности, несветскости (которую Шатов

ценил очень высоко) и по своей застенчивости она не в силах будет скрыть своего смущения при встрече с ним, как с человеком, ищущим ее руки, и что потому он увидит большую перемену в ее обращении. Разумеется, было положено умолчать об согласии невесты. К удивлению Варвары Михайловны, Наташа сказала: «Я не знаю, милая маменька, почему бы не сказать Ардальону Семенычу, если он будет спрашивать: как я приняла его предложение? что я на него согласна!» Варвара Михайловна возразила, что это будет уже слишком поспешно и что надобно подержаться. Разумеется, Наташа не настаивала.

Г-жа Болдухина, принарядившись как следует, чего она никогда не забывала, вышла в гостиную кушать чай. Василий Петрович, уходивший осматривать какие-то домашние работы, скоро к ней присоединился, а в непродолжительном времени явился и Шатов. Варвара Михайловна, напоив его чаем и кофеем с жирными сливками и пенками, накормив сухарями и кренделями, расспросив, хорошо ли он спал, не простудился ли вчера и пр. и пр., круто повернула разговор и сказала



ему немедленно, что Наташа уже знает все, что она сама догадалась и скрывать от нее сделалось невозможно. Ардальон Семеныч, не дав ей распространиться в подробностях, отвечал с достоинством, что он сам еще вчера понял невозможность оставаться в секрете его намерению; что, конечно, нельзя и не должно было матери отвечать ложью на вопрос дочери. Он поблагодарил, однако, за откровенное сообщение ему этого обстоятельства и прибавил, что очень хорошо чувствует, как должна смутиться теперь при виде его невинная, скромная и очаровательная Наталья Васильевна. Он изъявил даже готовность в этот день менее смущать ее своим присутствием и особенно своими разговорами. Все это было принято Варварой Михайловной с восторгом и было ею сейчас же пересказано Наташе; она выслушала слова Шатова с удивлением и благодарностью за внимание к ее положению.

Шатов предложил Василью Петровичу осмотреть его хозяйственные заведения и даже полевые работы. Болдухин был очень доволен и сначала повел своего гостя в столяр-

ную, в экипажную, на конный двор, а потом повез его в поле. До самого обеда Варвара Михайловна и Наташа не расставались и все разговаривали, и чем больше они говорили, чем больше открывали свои чувства, чем больше узнавали друг друга (потому что до сих пор знали очень мало), тем сильнее росла взаимная их любовь, росла не по дням, а по часам, как пшеничное тесто на опаре киснет (так говорит народная сказка), и выросла эта любовь до громадных размеров.

Нужно ли говорить, что Варвара Михайловна не пропустила случая представить Шатова в таком великолепном и пленительном виде, что Наташа, увлеченная искренним увлечением матери, думала, наконец, только об одном: нельзя ли сегодня же выйти замуж за Ардальона Семеныча? Но Варвара Михайловна, напротив, ежеминутно открывая в своей дочери драгоценнейшие качества и сердца, и нрава, и здравого ума, которого и не подозревала, и видя в то же время ее детскую невинность, ее совершенное непонимание важности дела, к которому готова была приступить, — Варвара Михайловна думала о

другом: как бы оттянуть свадьбу на год, как бы сделать так, чтоб жених прежде вполне узнал и оценил, какое сокровище получает.

К самому обеду воротились Василий Петрович и Ардальон Семеныч. Варвара Михайловна с Наташей, со всем семейством, с мусье и с мадамой, ожидали их уже в гостиной. Шатов, после любезного приветствия Наташе, сделанного очень свободно, не обратившего на нее ничьего внимания и нисколько ее не смутившего, прикинулся совершенно погруженным в хозяйство Василья Петровича, которое только что осматривал; он показал себя знатоком дела: замечал кое-какие недостатки, упущения, предлагал возможность улучшений и в то же время так искусно хвалил все остальное, что Василий Петрович оставался совершенно довольным, не мог надивиться хозяйственным практическим сведениям молодого человека и повторял про себя любимую свою поговорку: «Ну, из молодых, да ранний!» Обед прошел очень весело, гость занимал всех разговорами и сосредоточивал на себе общее внимание; Наташе было легко, и она, сердечно благодарная Шатову, совер-

шенно успокоилась и ободрилась. После обеда, напившись кофею, губернёр и гувернантка ушли, а за ними и дети. Шатов, не скрывая уже наполнявшего его чувства, обратился к Наташе с почтительным и нежным вниманием. Наташа встретила его слова таким взглядом, который, как электрическая искра, проник до глубины души молодого человека и потряс все духовное существо его; в этом взгляде выражалось столько сочувствия и благоволения, что Шатов, очарованный им, повинувшись непреодолимому чувству любви, для которой блеснула в этом взгляде взаимность, позабыв все свои прежние намерения уехать, не объясняясь и не спрашивая согласия невесты, с несвойственной ему живостью и жаром сказал: «Наталья Васильевна! Решите мою судьбу. Могу ли я надеяться получить вашу руку?» Наташа, не задумавшись, тихо и просто подала ему свою руку и голосом, который дошел до сердца всех присутствующих, отвечала: «Я согласна». Шатов целовал с восторгом руку своей невесты, а Василий Петрович и Варвара Михайловна, как громом пораженные, не веря своим ушам и глазам, не

могли вдруг понять, что произошло перед ними. Шатов, опомнившись, взял за руку Наташу, подвел ее к отцу и матери и просил их утвердить своим согласием его счастье и благословить детей своих. Болдухины так были озадачены, что не вдруг нашлись, что отвечать. Такая неожиданность, такая быстрая, хотя и желанная развязка как будто неприятно изумила их, особенно Варвару Михайловну. «Боже мой! Да как же все это так случилось? — проговорила она, наконец. — Наташа! Не слишком ли ты поспешно даешь свое согласие? Ты так мало еще знаешь Ардальона Семеныча, и он тоже мало знает тебя. Не лучше ли бы было наперед познакомиться покороче, оценить друг друга и тогда уже приступить к решению такого великого дела? Да, кажется, таковые были и ваши намерения, Ардальон Семеныч?» — «Вы совершенно правы, Варвара Михайловна; но вы сами видите, как непрочны человеческие намерения. Одна минута, один взгляд решил все. Как это случилось, я и сам не знаю, но я умоляю вас, почтеннейший Василий Петрович, и вас, почтеннейшая Варвара Михайловна, не отрав-

ляйте этой блаженной для меня минуты никаким замедлением вашего согласия; благословите детей ваших. Позвольте мне любить вас сыновней любовью и называть отцом и матерью: вы знаете, что у меня их давно нет...» Но как старики еще молчали, то Наташа присоединила и свой голос; тихо и скромно сказала она: «Батюшка и матушка! Я знаю, что вы любите Ардальона Семеныча; благословите же нас». Что было тут делать? Ничего другого, как взять образ и благословить жениха с невестой. Так и сделали: все четверо пошли в спальню стариков, достали из кивота один из раззолоченных образов, перед которыми так недавно и так тепло молилась Варвара Михайловна с Наташей, — и благословили жениха и невесту. Василий Петрович был спокойно-светел, Варвара Михайловна беспокойно-радостна, Наташа находилась под обаянием мысли, что маменька счастлива, и такая кроткая радость исполненного долга, любви и благодарности прибавила какое-то высокое, небесное выражение ее прекрасным глазам. Ардальон Семеныч, вышед из своего неестественного положения, из увлечения, так ему

чуждого, был не то что холоден, но слишком спокоен и важен для настоящей минуты, а природная его медленность казалась уже вялостью. Он и прежде проповедывал, что терпеть не может порывов, что человек должен действовать разумно, вследствие своего убеждения, а не по внушению внезапного чувства, в котором через час он будет раскаиваться, что такое состояние равняется опьянению, что человек тогда не хозяин самого себя (любимое его выражение)... — все это совершилось теперь с ним в самую важную, великую минуту в жизни! Несмотря на искреннюю любовь к Наташе, ему было досадно на себя, стыдно других; какое-то облако задумчивости покрыло его большие глаза, и без того лишенные живости и выражения. К общему удивлению, он сказал, что завтра рано поутру он едет в свою деревню. Василий Петрович и Наташа приняли его слова спокойно, но Варвара Михайловна, видимо взволнованная, не вытерпела и сказала: «Я надеялась, что вы перемените свое намерение и проведете с нами и вашей невестой хотя завтрашний день». Но Шатов утвердительно отвечал, что он нико-

гда намерений своих не переменяет и никогда не изменяет своему обещанию, что послезавтра он обещал обедать у одного из своих соседей и что это непременно так и будет. Варвара Михайловна была недовольна, но Ардальон Семеныч, как будто утешенный проявлением своей самостоятельности, повеселел и оживился. Он говорил очень много: нежно с Наташей и почтительно со стариками; между прочим, он предложил, чтоб настоящее событие, то есть данное слово и благословение, остались покуда для всех неизвестными; что он воротится через несколько дней, привезет кольцо своей матери, которое бережет и чтит как святыню, и надеется, что обожаемая его невеста наденет это колечко на свой пальчик и подарит его таким же кольцом. Невеста в знак согласия взглянула на жениха ласково, а жених с чувством и благодарностью поцеловал ее руку. Потом, заметив, что его намерение уехать завтра и предложение сохранить в тайне данное слово как будто не нравились Варваре Михайловне, обратился он к ней с новыми красноречивыми объяснениями и доказательствами и без



большого труда убедил г-жу Болдухину.

Когда семейство с мадам де Фуасье и кавалером де Глейхенфельдом соединилось за вечерним чаем, все шло по-прежнему, как было за обедом, то есть Шатов занимал всех и сам занимался всеми и всего менее Наташей. Никому в голову не входило, что она уже благословенная невеста.

Вечером, при прощанье (жених уезжал завтра очень рано) Ардальон Семеныч показал много чувства и нежности к Наташе. Он выпросил позволение писать к ней каждый день и просил отвечать ему хоть несколькими строками. Василий Петрович изъявил сомнение, что трудно устроить ежедневную переписку на расстоянии ста верст. Он не хотел сказать прямо, что находит ее вовсе излишней. Шатов отвечал, что у него тридцать охотничьих скаковых лошадей и двадцать человек охотников, для которых проскакать пятьдесят верст ровно ничего не значит, и что на половине дороги будут стоять переменные лошади и люди. Ардальон Семеныч был очень в духе, как говорится, и отпустил много великолепных фраз; между прочим, он

сказал, что боится возгордиться тем, что несравненная Наталья Васильевна отдает ему свою руку, что для ее счастливого жениха нет препятствий, нет преград, нет ничего невозможного для того, чтоб каждый день получать об ней известие, что они будут долетать до него в восемь часов. Старики были вновь очарованы, и Наташа слушала такие речи с удовольствием.

Долго не могла заснуть Варвара Михайловна и мешала спать Василью Петровичу. Она чувствовала какое-то тоскливое волнение, которому причины она сама не знала. Конечно, дело такой великой важности решилось слишком внезапно, слишком неожиданно, каким-то сюрпризом и не совсем законным порядком. По кодексу Варвары Михайловны, жених должен был узнать от родителей о согласии невесты, а согласие невесты должно было основываться на воле родительской; но разве они этого не желают? Разве Наташа не знала этого? Но в сущности разве не исполнилось все то, чего так пламенно желала сама Варвара Михайловна? Так о чем же было беспокоиться, чем волноваться? А г-жа Болдухи-

на и беспокоилась и чем-то волновалась. Намерение отложить свадьбу на год, которого старик Болдухин не одобрял, вероятно, должно было встретить сильное сопротивление со стороны жениха; если и Наташа, с которой мать об этом не говорила, не выразит особенного желания на такую длинную отсрочку, то одной Варваре Михайловне нельзя будет поставить на своем. Да и как быть с приданным? Готового у ней ничего нет, а приданое должно быть щегольское, и за ним надо ехать в Москву. Все это вместе волновало и мешало заснуть заботливой матери. — Наташа, несколько утомленная, несколько смущенная новостью своего положения, но вполне уверенная, что маменька ее счастлива, не сомневалась и в своем будущем счастье. Она была даже довольна, что жених ее на некоторое время уехал. Ей надобно было свыкнуться с мыслью, что она невеста, что положение ее должно перемениться, что все будут смотреть на нее другими глазами. При постоянном присутствии жениха и общем наблюдательном внимании было бы гораздо труднее, было бы некогда свыкнуться, не приготовясь, с

новым своим положением. Итак, Наташа была довольна и заснула скоро и спокойно.

В доме никто не сомневался, что Шатов приезжал не даром и что добрая барышня выйдет за него замуж. Горничная Еввеша, подавая умываться, первая атаковала Наташу вопросом о женихе. Наташа отвечала отрицательно. Вторую атаку повела мадам де Фуасье; она ранехонько пришла в комнату своей воспитанницы, бросилась целовать Наташу, которую, к большой досаде г-жи Болдухиной, называла иногда: «Mon enfant», [5] поздравляя ее с завидной судьбой, и уверяла, что карты все это давно ей сказали. Здесь Наташе было труднее защититься от расспросов, и она по необходимости должна была признаться, что видит намерение Ардальона Семеныча и что если папеньке и маменьке будет угодно, то и она будет согласна. Де Фуасье плакала от радости, потому что была в восхищении от Monsieur Chatoff и потому что в основании была хотя пустая, но предобрая старуха. Мориц Иваныч ничего не говорил прямо; но его необыкновенные низкие поклоны, с прижатыми к груди руками, его взгляды, ужимки,

глаза, поднятые к небу с мольбою о счастье affabilite [6] (так звал он Наташу), были слишком выразительны и понятны, и хотя сильно смущали ее, но по крайней мере не требовали ответа и притворства. Впрочем, все это тревожило Наташу только первое утро; к вечеру как будто позабыли о приезде Шатова, и деревенская жизнь пошла по заведенному порядку. Варвара Михайловна все свободное время от классов, которые Наташа продолжала посещать для вида, так сказать, мимоходом, проводила вместе с дочерью. Ее восторженные разговоры о достоинствах Ардальона Семеныча поддерживали духовное настроение Наташи, и она радовалась, что поступила так решительно, хотя мать не одобряла ее поступка и утверждала, что на предложение Шатова ей следовало бы отвечать, что все зависит от воли ее родителей, которым известно ее расположение.

На другой день к обеду прискакал верхом гонец с письмом от Шатова: письмо было отправлено в четыре часа утра, а в полдень уже получено Васильем Петровичем. Слова Ардальона Семеныча исполнились в точности: его

посланье к невесте, наполненное великолепными нежностями, пролетело сто верст в восемь часов. Взмыленный конь и запыленный гонец всполошили болдухинскую дворню; все подумали: «Уж не случилось ли какого несчастья?» Но когда узнали, что такая скакотня будет происходить каждый день и что к вечеру приедет другой курьер с парюю заводских лошадей для того, чтобы лошади и люди могли переменяться, то все подивились только затеям молодого барина и еще более утвердились в мысли, что он нареченный жених их барышни. Г-жа Болдухина была в восторге от этой скаковой проделки; Наташа с удовольствием видела в ней доказательство любви своего жениха, а Василий Петрович все это называл пустыми проказами. Гонец, выкормив лихого скакуна, через четыре часа должен был пуститься в обратный путь. Варвара Михайловна написала письмецо к Ардальону Семенычу, и Наташа приписала несколько строк под ее диктовку.

Со вторым курьером Шатов, между прочим, писал, что воспитатель его, Григорий Максимыч Винский, должен проезжать через

село Болдухино и просит позволения заехать к его хозяевам, с которыми и прежде был знаком, для засвидетельствования своего глубочайшего почтения. Ардальон Семеныч просил принять его благосклонно, как человека, которому он обязан своим образованием. Шатову отвечали, что очень будут рады возобновить знакомство с Григорьем Максимычем. Хотя это обстоятельство само по себе не давало никаких поводов к перетолкованию, потому что Винский ехал навестить больного приятеля, прежнего товарища своей тяжелой участи, и потому что дорога лежала возле самого дома Болдухиных, но Варваре Михайловне показалось, что «умысел другой тут есть», что Винский знает все и едет посмотреть невесту и что, может быть, нужно еще его одобрение для решительного окончания их дела. Г-жа Болдухина всегда переливала через край и видела то, чего нет. Винский точно желал взглянуть на Наташу, потому что знал намерение своего воспитанника; но он ничего не знал о полученном им согласии и не имел никакого влияния на его сватовство.

Винский приехал в Болдухино на другой

день к обеду. Красота, скромность, благородство и сердечная доброта Наташи, выражавшиеся в ее глазах и во всех чертах лица, поразили его, он долго не мог свести с нее глаз. Под личиной правдивого грубияна это был человек тонкий, хитрый. Несмотря на ласковый прием, он сейчас заметил, что хозяйка как-то недоверчиво на него смотрит. Он сейчас взялся за откровенность и рассказал всю правду; то есть все, что ему было известно о намереньях и предложении Шатова. «Никто лучше меня не знает Ардальона, — говорил он, — и я считаю за долг честного человека (все равно, поверите ли вы мне, или нет) сказать вам, что этот молодой человек имеет благородную душу, доброе сердце и превосходные правила. Все его недостатки, как то: высокое о себе мнение, упрямство, тщеславие, охота умничать и учить других, — ничего не значат перед его достоинствами. Умоляю вас, не отвергайте его искренней любви к вашей дочери; я скажу вам откровенно и прямо, что не верил похвалам Ардальона, как словам юноши влюбленного в первый раз; но, увидев вашу дочь, я всему поверил. В кра-



соте ее лица выражается красота души. Я человек опытный, много жил и видел людей; я прочел в ее прекрасных глазах счастье того человека, который будет ее мужем. Ручаюсь вам, отвечаю, что она будет владеть безгранично Ардальоном». Речи отставного воспитателя не понравились г-же Болдухиной; она поспешила высказать ему, что достоинства Ардальона Семеныча они очень хорошо знают, а недостатков, которые находит в нем Григорий Максимыч, они не видят; что дочь их воспитана в правилах покорности и повиновения к родителям и никогда властвовать над своим мужем не пожелает; что она еще ребенок и что если богу будет угодно, чтоб она была женой Ардальона Семеныча, то он сам окончит ее воспитание и, конечно, найдет в ней почтительную и послушную жену. Старый бурсак улыбнулся и отвечал: «Вы не верите моей искренности, боитесь моего влияния и отталкиваете меня. Как вам угодно! Желаю и не перестану желать добра вашей дочери». После этих слов он говорил только о посторонних предметах; выпросил себе бутылку старой ост-индской дреймадеры, луч-

ше которой, как он уверял, в жизнь свою не пивал, — и уехал. Варвара Михайловна очень была довольна, что отбрила хитрого хохла (так она его всегда называла), который осмелился предложить свое покровительство ее дочери и хотел вмешаться в семейную жизнь будущих молодых. Наташа ничего не знала об этих разговорах, а Василий Петрович был ими совершенно недоволен и находил, что совсем было не нужно дразнить этого человека.

Четыре дня сряду скакали гонцы, а на пятый день к обеду ждали самого Шатова. Приготовили обручальное кольцо для жениха и вдобавок к прежним, также новым, сшили еще новое платье для Наташи. Все остальное шло по-прежнему. По-прежнему восторгались Варвара Михайловна и все окружающие Наташу, говоря об ее женихе; по-прежнему был доволен Василий Петрович; по-прежнему и Наташа казалась спокойной и довольной; но, странное дело, последние два письма Ардальона Семеныча, в которых он пораспространился в подробностях о своих намерениях и планах в будущем, о том, что переезжает

В Болдухино на неопределенно долгое время со множеством книг, со всеми своими привычными занятиями, в которых, как он надеется, примет участие и обожаемая его невеста, — произвели какое-то не то что неприятное, а скучное впечатление на Наташу. Накануне приезда жениха, когда невеста, просидев до полночи с отцом и матерью, осыпанная их ласками, приняв с любовью их родительское благословение, воротилась в свою комнатку и легла спать, — сон в первый раз бежал от ее глаз: ее смущала мысль, что с завтрашнего дня переменится тихий образ ее жизни, что она будет объявленная невеста; что начнут приезжать гости, расспрашивать и поздравлять; что без гостей пойдут невеселые разговоры, а может быть, и чтение книг, не совсем для нее понятных, и что целый день надо будет все сидеть с женихом, таким умным и начитанным, ученым, как его называли, и думать о том, чтоб не сказать какой-нибудь глупости и не прогневить маменьки... И жалко стало Наташе своей девической, беззаботной жизни, с ее простотой и свободой; грустно стало, что мало будет слы-

шать она болтовню своих маленьких братцев и сестриц, которые прежде надоедали ей, и жаль стало бесконечных рассказов мадам де Фуасье, также давно ей известных и также давно наскучивших. В первый раз спросила она себя: так ли много любит она жениха, чтоб бросить для него дом родительский; точно ли маменька будет счастлива, если она не полюбит Ардальона Семеныча так сильно, как следует жене любить своего мужа? Спросила — и не могла отвечать утвердительно; сомнение запало ей в душу. Не скоро она заснула, видела какой-то страшный сон; долго не спала после него и проснулась поздно с головной болью, с бледностью и усталостью на лице, что было замечено всеми. Разумеется, Варвара Михайловна заметила эту перемену прежде других, встревожилась ею и принялась расспрашивать Наташу о причине. Но дочь так долго и недавно была еще далека от матери, что, несмотря на порывы горячей любви и нежного участия со стороны матери, принимаемые с восторженной благодарностью, не могла предаться свободно искреннему, полному излиянию своей детской привя-

занности. Она не привыкла к ним и каждую минуту благодаря бога за обращение к ней сердца матери, каждую минуту боялась вдруг потерять то, что вдруг получила; одним словом, Наташа не смела высказать откровенно своих вчерашних чувств и сомнений. Варвара Михайловна легко удовлетворилась неискренними ответами Наташи, да и почему было не удовлетвориться? Что было естественнее волнения и смущения молодой девушки накануне своего обручения?

Шатов приехал несколько позднее, чем его ждали, задержанный в дороге какой-то непредвиденной остановкой. В эти пять дней разлуки любовь овладела им и пустила глубокие корни в сердце молодого человека уже с непреодолимою силой. Он так соскучился по Наташе, что нетерпение ее увидеть изменило его спокойный нрав и нарушило его обычные, несколько важные и мерные поступки. Здраваясь со стариками, вместо приличных приветствий и вопросов, он только и сказал: «Где Наталья Васильевна? Здорова ли Наталья Васильевна?» Когда же она пришла, он с глубокою нежностью и радостью поцеловал

ее руку и долго, пристально, не говоря ни слова, с каким-то самозабвением смотрел на нее. Это показалось странным невесте и даже старикам. Наташа смутилась, и отец с матерью также, потому что этот взгляд, проникнутый искренним чувством, продолжался, может быть, слишком долго. Наконец, Шатов, как бы опомнившись, вынул из бокового кармана маленький сафьянный футляр, достал из него простое золотое колечко, посмотрел на него с умилением и тихим голосом, в котором слышно было глубокое внутреннее чувство, просил Наташу надеть; но Варвара Михайловна сильно воспротивилась такому обручению *запросто*, находя неприличным, и утвердительно сказала, что обручение может совершиться завтра обыкновенным, всеми принятым порядком, помолясь богу, при чтении святых молитв и с благословения священника. Ардальон Семеныч в свою очередь был озадачен и смущен. Он почувствовал, однако, что настаивать на своем было невозможно, и в то же время ему было как-то неловко и неприятно отступить от своего желания, спрятать колечко опять в футляр и положить

в карман. Он стал просить, чтобы Наталья Васильевна взяла по крайней мере к себе и спрятала его до завтра. Варвара Михайловна и на это не согласилась, но, видя смущение жениха, который, стоя посредине комнаты, все еще держал в одной руке кольцо, а в другой футляр и, по-видимому, не знал, что ему делать, она предложила Ардальону Семенычу отдать кольцо ей, для того чтобы вместе с обручальным кольцом Наташи положить его перед образа до завтрашнего утра. Видно было, что Шатов не только ничего подобного не ожидал, но что все это ему не очень нравилось. Он попробовал поспорить и защитить причину своего желания и просьбы, но, видя непреклонную настойчивость матери, подкрепленную согласием и Василья Петровича, заблагорассудил согласиться. Варвара Михайловна, чтобы прекратить неловкое положение всех, стоявших посреди комнаты, поспешно взяла кольцо, попросила Шатова сесть рядом с своей невестой и ушла, чтобы, согласно своему предложению, положить обручальные кольца перед образами. Исполнив это, она помолилась богу о счастье своей до-

чери и с веселым видом воротилась в гостиную. Жених с невестой сидели молча; глядя на них с недоумением, молчал и Василий Петрович; жених о чем-то печально задумался, невеста также. Варвара Михайловна, желая рассеять неприятное впечатление предыдущей сцены, с живостью обратилась к Шатову с разными посторонними разговорами и расспросами о том, что он делал в продолжение его отсутствия, и ей удалось мало-помалу рассеять его и привести в обыкновенное положение. Облако задумчивости слетело с его лица, он как будто очнулся от какой-то дремоты, и любовь, радость, что он видит обожаемую Наташу, что завтра она будет обручена с ним, наполнили его душу. Он сделался разговорчив, весел, нежен с своей невестой, внимателен и почтителен с ее родителями и скоро заставил позабыть их обо всем случившемся. Наташа также казалась спокойною и даже веселою. В доме объявили всем, что Ардальону Семенычу дано слово, что Наташа уже невеста, и что завтра будет обручение. Маленькие братья и сестры обнимали и поздравляли ее, а также и Шатова, которого все



очень любили. Классные занятия прекратились в тот день ранее обыкновенного; пришли мадам де Фуасье и шевалье де Глейхенфельд. Каждый по-своему выражал свою радость и свое искреннее желание счастья жениху и невесте. За столом посадили их рядом, выпили их здоровье, и к вечеру не только вся дворня, но и все село Болдухино знало, что красавица барышня уже помолвлена тоже за красавца, по общему мнению, молодого и богатого барина Ардальона Семеныча Шатова; а как в тот день отправился в город нарочный на почту за письмами, то и весь Богульск на другой же день узнал об этой важной новости.

Ардальон Семеныч прочным образом основал свое местопребывание во флигеле и целую особую комнату занял своими книгами, письменными принадлежностями, ружьями и охотничьими снарядами, потому что предполагал иногда ходить на охоту, для чего и привез свою любимую отличную собаку, которая в тот же день была представлена Наташе и принята ею с особенной благосклонностью; она пожелала всякий день кормить ее

при себе, чем жених был очень доволен. Этот первый день прошел довольно приятно и оживленно. Жених менее рассуждал, больше рассказывал о том, что думал, чувствовал и делал во время своего отсутствия. Наташа не скучала и была довольна всеми его рассказами.

Варвара Михайловна сочла за нужное истребить неприятное впечатление, которое, как она думала, должна была произвести на Наташу история с обручальным кольцом, а также и странность некоторых поступков жениха. Это было ей нетрудно, потому что Наташа менее находила тут странного, чем сама Варвара Михайловна. Наташе только не понравилось выражение глаз Шатова, когда он, увидевшись с ней, молча и долго смотрел на нее. Она с детской наивностью говорила матери, что терпеть не может, когда кто-нибудь смотрит на нее так пристально, точно хочет узнать, что происходит у ней в сердце, и что она особенно не любит таких взглядов Ардальона Семеныча. Но главное, что ей не нравилось и чего она не сказала Варваре Михайловне, это была медленность и вялость всех дви-

жений и слов ее жениха. Он говорил с расстановкой, растягивая свои речи, и Наташе сейчас становилось сначала скучно его слушать, а потом и тяжело; не будучи сама ни бойка, ни скоро, она любила бойкую, скорую и веселую речь, одним словом: натура, личность Ардальона Семеныча была ей не по вкусу...

# КОПЫТЬЕВ

**В** 1816 году Петербург жил обыкновенною своею внешнею жизнью: точно так же текло Ладожское озеро в Финский залив, точно так же западный ветер нагонял иногда морскую воду в устье Невы, вода выходила из берегов, затопляя низменные приморские места Петербурга: стреляли пушки с Петропавловской крепости и торопливо выбирались испуганные жители из нижних этажей домов: точно так же уходила в серое небо игла адмиралтейского шпиля.

В настоящую минуту стояла жаркая июльская погода; около биржи толпились мачты, как лес, и развевались пестрые, чужеземные флаги. Петербург давно уже выселился на острова, и давно уже происходила скакотня курьеров, отвозивших и привозивших бумаги, подписанные директорами, вице-директорами и даже начальниками отделений, жившими на дачах.

Одним словом, все было в Петербурге точно так же, как и всегда; впрочем, и около Петербурга все шло по-прежнему. По-прежнему

текли к нему, стоящему на рубеже России, по всем жилам государственного организма питательные соки Русской земли, по-прежнему из всех углов пространной православной и даже неправославной Руси тянулась к нему молодежь, богатая и бедная, даровитая и бездарная; заходила поучиться в Казань, а всего более в Москву и, поучившись, все-таки отправлялась в Петербург на службу. Понятно, что для людей богатых или даровитых представлялось много блистательных надежд в будущем, надежд, которым так легко поддается молодость; но для чего бы, казалось, туда же ползти бездарным беднякам? Каких успехов могли ожидать они? По-видимому, никаких... Но опыт часто доказывал противное: бездарные бедные часто успевали лучше даровитых и богатых. Богатство и даровитость нередко испарялись в вихре пошлой суеты и роскоши, а бедная и трудолюбивая посредственность подвигалась шаг за шагом вперед, сначала делалась необходимою для черной работы, потом занимала места позначительнее, выходила в люди, устраивала себе карьеру, и богатая даровитость нередко попадала

под начальство бедной посредственности.

Валерьян Петрович Копытьев, 19-летний юноша, не принадлежал ни к тому, ни к другому разряду молодых людей, постоянно стекавшихся на берега Невы или, правильнее сказать, на болотные берега Финского залива. Копытьев не имел блестящей даровитости и был круглый сирота, без всякого состояния, воспитанник дальнего родственника и крестного своего отца Василия Прокофьяча Лопатина, постоянно жившего в деревне, в одной из отдаленных губерний, человека довольно богатого, необразованного, но одаренного природным здравым смыслом и добрым сердцем, впрочем, помещика с ног до головы. Дав своему воспитаннику приличное образование, довольно поверхностное, отправил он его на службу в Петербург, — и Копытьев попал в «Северную Пальмиру». Старик Лопатин очень любил крестника, не скупился на его содержание, дал ему две тысячи рублей ассигнациями (другого счета деньгами тогда еще не знали), и сказал: «Смотри, Валерьян, живи скромно, но прилично русскому дворянину. Когда издержишь деньги, напиши ко мне. Ес-

ли увижу, что будешь мотать, ничего давать не стану». Молодой человек, вполне признательный своему благодетельному родственнику и сердечно к нему привязанный, не употреблял во зло щедрость своего благодетеля, жил в Петербурге умеренно и никогда не издерживал более двух тысяч рублей в год. Валерьян Петрович Копытьев был добрый малый, но не в пошлом и дурном смысле этого слова. В характере у него недоставало твердости, терпения и постоянства, но все первые движения его души были прекрасны. Нрава веселого и живого, любимый всеми приятелями и коротко знакомыми людьми, которые называли его Валером, — он вел очень приятную жизнь в Петербурге. На службу являлся только поболтать о городских новостях, прочесть или услышать какие-нибудь новые стишки, а всего более — поговорить о вчерашней пиесе. До театра он был большой охотник, а в Семенову влюблен с самого приезда своего в Петербург, что, впрочем, не мешало ему увлекаться и другими особами. Валер (для краткости и мы будем называть его так, как все называли) служил в экспедиции

о государственных доходах: из студентов переименовали его в сенатские регистраторы, потом произвели в губернские секретари, а в настоящее время он уже был коллежский секретарь. Впрочем, о своих чинах он не заботился, потому что и не думал проложить себе служебную дорогу. Служба была для него не тягостью, а предметом развлечения, чем-то вроде утреннего английского клуба: со всеми увидишься, со всеми переговоришь и условишься, куда ехать гулять на острова, к кому и когда ехать в гости. Разумеется, он служил без жалованья, или нет: ему шло жалованье рублей по триста в год, но он его не получал, а отдавал бедным канцелярским чиновникам того стола, в котором числился. Все любили Валера: от строгого немца — директора экспедиции до последнего писца, да и за что не любить? Он был ласков, мил, приветлив, а при первой возможности и услужлив. Но этого мало: его не только любили как любезного юношу, но считали молодым человеком «с большими служебными способностями», и вот по какому случаю. Пришел он один раз в экспедицию и балагурил о чем-то с своим сто-



дона начальником, тоже немцем по фамилии, но не знающим по-немецки, с которым он был очень дружен. Вдруг помощник столоначальника, крайне ограниченный господин, которого за необыкновенную плоскость лба и всего лица некто чиновник Милонов прозвал площадью, к общему удовольствию всей экспедиции, говорит Копытьеву, ухмыляясь: «Валерьян Петрович, что бы вам сочинить хоть одну бумажку, хоть один отпуск о принятии к сведению или о дополнении сведений и оставить черновую на память о нашем столе? Я вот уже три написал, а осталось еще три, да такие мудреные, что как и выразиться — не знаю». Валер взял бумаги и без пометки написал три отпуска: сочинить такие бумаги было дело нехитрое. Когда их прочли, «площадь», то есть помощник столоначальника, выпучил глаза от изумления, да и все были удивлены: бумаги оказались написанными как следует. С этих пор утвердилась слава о Копытьеве, что он «мог бы быть отличным чиновником и дельцом».

Вообще Валер жил весело и беззаботно, как жили тогда многие, не оглядываясь во-

круг себя, не помышляя о прошедшем и не заботясь о будущем: жил он, как говорится, спустя рукава. Нельзя сказать, чтоб он не имел способности к пониманию политических, исторических и общественных вопросов; мы даже думаем, что он мог бы принимать в них живое и горячее участие, — но он как-то не знал их, как не знаем мы часто многих людей, с которыми встречаемся ежедневно, — не наткнулся на них близко. Он был знаком со многими, которые имели, по крайней мере, претензию сочувствовать «высшим» интересам, говорить, спорить о них: но у Валера все летело мимо ушей и мало передавалось его уму и сердцу. Добрый товарищ своих приятелей, не имевший никогда склонности к разгульной жизни, он разделял, однако, их молодые увлечения, пил без принуждения шампанское и охотно играл в карты: последними занимался даже с излишеством. Впрочем, играл всегда воздержно и расчетливо, что, казалось, противоречило с его легким, нетерпеливым нравом, он постоянно был в выигрыше: это обстоятельство давало ему возможность реже, менее просить денег у

крестного отца, который, конечно, оставался очень доволен умеренностью и аккуратностью своего воспитанника.

Из всего сказанного мною видно, что Валер не заглядывал в высший петербургский круг; он не принадлежал даже и к среднему чиновничьему миру, — миру чиновников уже значительных и пожилых, кандидатов на занятие важных должностей, иссушивших ум и сердце многолетним сиденьем за бесплодными бумагами и сделавшимися неспособными ни к живой мысли, ни к энергичным действиям. Грустно и тяжело подумать, сколько жертв, сколько живых человеческих душ погибало в этой огромной... машине, называемой бюрократией. Эта язва посредством мертвящей привычки не приметно гасит в уме и душе юноши все благородные высокие порывы, все честные стремления, и формализм овладевает им. Немногие спасаются, и вернейшее спасение — бегство вовремя. Валер жил в среде молодых дилетантов службы, которые, пользуясь выгодными сторонами, не подвергаются невыгодным, нравственно-убийственным ее сторонам. Разумеется,

это были люди, если не небогатые, то все-таки имеющие средства к безбедному существованию. Многие из них получили хорошее образование, любили литературу, читали не одни журналы, а книги и своим обществом распространяли вокруг себя любовь и уважение к просвещению. Валер решительно им сочувствовал и сам кое-чем занимался, но должно признаться, что все его занятия были легки и поверхностны.

Таков был Валериан Петрович и так он жил в Петербурге безвыездно уже 6 лет: с своим благодетелем переписывался он довольно редко и решил в своем уме, что лучше Петербурга и лучше петербургской жизни ничего на свете быть не может: утверждал даже по слухам, что Петербург — первый город в Европе. Сначала болотная и печальная, однообразная природа сильно ему не нравилась, но потом и с нею примирился он, или, лучше сказать, забыл о ней — и окрестности столицы, украшенные, прибранные искусством и трудом человеческим, показались ему так хороши, что он с пренебрежением вспоминал о своей привольной, дикой и некогда милой

ему родине. Он уже с презрением поговаривал о дымных крестьянских избах, о грубости, неопрятности и полудикой необразованности их обитателей, о простоте деревенской жизни. Он оставил деревню девятилетним мальчиком. Восемь лет забывал о ней в гимназии и потом в университете и окончательно позабыл в Петербурге; искусственность пустила уже глубокие корни в молодой его душе.

Вдруг получает он письмо от своего крестного отца, которое удивило его уже тем, что в нем было написано полторы страницы, тогда как прежние письма, не более трех или много четырех в год, всегда состояли из нескольких строчек. Старик писал следующее: «Я давно не писал к тебе, любезный друг Валерьян, потому что был болен и чуть не умер. Пролежал я две недели, а поправиться не могу в два месяца. Видно, уже не прежняя пора. Хорошо, что бог меня помиловал, а то остался бы ты ни при чем: ведь таких родственников у меня, как ты, наберется больше десятка. И так дело надо устроить порядком. По получении сего письма немедленно выходи в отставку и приезжай ко мне. Ведь служба твоя пустая. Я

укреплю тебе законным порядком все свое имение и, покуда есть силы, хочу приучить тебя к хозяйству. По крайней мере год ты должен прожить со мной, а там, пожалуй, если соскучишься, я отпущу тебя опять в Питер и останусь твоим управляющим. По правде сказать: мне хотелось бы тебя женить. Ну да без твоего желания и без воли божией такое дело сделаться не может». Крепко призадумался Валер! Отвык он от деревенской жизни, которую очень любил в ребячестве, и по привычке к Петербургу. Впрочем, тут не представлялось выбора: желание крестного отца и благодетеля было для него законом: а здесь присоединялась к тому возможность упрочить себе навсегда благосостояние и независимость. Ему никогда в голову не входило, чтоб крестный отец отдал ему все свое имение; он был уверен только в одном: что старик не оставит его без куса хлеба. Восемь сот душ, тысяч двадцать десятин хлебородной земли, отлично устроенное хозяйство, с огромными запасами хлеба, и, без сомнения, значительный капитал в ломбарде — кто пренебрежет такими благами и не пожертвует для них не только

приятностями столичной жизни, но и сердечною склонностью? Валер без большого усилия пожертвовал и тем и другим. Сердечных склонностей у него было немало; но говорить о них не стоит, потому что все они были не важны, а нужно только узнать моим читателям, что Валер был влюбчив и каждую последнюю свою любовь считал вечною. Не желая мешкать и дожидаться осенней погоды, он решился немедленно оставить Петербург.

Подав просьбу об отставке, он взял отпуск на 28 дней, задал пир на весь мир всем своим приятелям на Елагином острове; трагически простился с девушкой, в которую считал себя влюбленным, бросился в повозку и поскакал в Москву по отвратительной Петербургской дороге, о которой одно воспоминание приводит в ужас всякого, кто ездил по ней. Это была не дорога, а полоса земли, по которой именно нельзя ехать: или мостовая из круглышей, настланная по болотному грунту, прыгающая и брызгающая грязью во все стороны, или каменная мостовая из крупного булыжника, беспорядочно набросанного один возле другого. Валер в Петербург приехал зи-

мой и не имел понятия о летней дороге. Как расчетливый человек, он и не подумал купить себе рессорного экипажа, а купил крепкую, красивую, простую повозку. Всю дорогу он страдал колотьем и часто шел пешком, платя деньги на водку ямщику, чтоб он ехал шагом. Наконец в пятый день добрался он до Москвы. К Москве он был совершенно равнодушен, хотя держался мнения тех своих приятелей, которые говорили о ней снисходительно и даже благосклонно. Он уже потому был благосклонно расположен к ней, что надеялся хорошенько отдохнуть от мучительной дороги и пожить с неделку у своего друга и товарища по университету Степана Васильевича Кострова, который был женат на москОВКЕ, служил и жил постоянно в Москве и сделался отчаянным москвичом...

*1857*



# ОЧЕРК ЗИМНЕГО ДНЯ

В 1813 году с самого Николина дня установились трескучие декабрьские морозы, особенно с зимних поворотов, когда, по народному выражению, солнышко пошло на лето, а зима на мороз. Стужа росла с каждым днем, и 29 декабря ртуть застыла и опустилась в стеклянный шар. Птица мерзла на лету и падала на землю уже окоченелою. Вода, взброшенная вверх из стакана, возвращалась оледенелыми брызгами и сосульками, а снегу было очень мало, всего на вершок, и неприкрытая земля промерзла на три четверти аршина. Врывая столбы для постройки рижного сарая, крестьяне говорили, что не запомнят, когда бы так глубоко промерзала земля, и надеялись в будущем году богатого урожая озимых хлебов. Воздух был сух, тонок, жгуч, пронзителен, и много хворало народу от жестоких простуд и воспалений; солнце вставало и ложилось с огненными ушами, и месяц ходил по небу, сопровождаемый крестообразными лучами; ветер совсем упал, и целые вороха хлеба оставались невеянными, так что и де-

ваться с ними было некуда. С трудом проби- вали пешнями и топорами проруби на пруду; лед был толщиною с лишком в аршин, и ко- гда доходили до воды, то она, сжатая тяже- лую, ледяною корою, била, как из фонтана, и тогда только успокаивалась, когда широко за- топляла прорубь, так что для чищенья ее на- добно было подмащивать мостки. Скот грелся постоянно едою, корма выходило втрое про- тив обыкновенного, и как от летней засухи уродилось мало трав и соломы, то крестьяне начинали охать и бояться, что корму, пожа- луй, не хватит и до Алексея божьего человека. Стали бить лишнюю скотину, и мясо так по- дешевело, что говядину продавали по три ко- пейки ассигнациями, а баранину по две ко- пейки за фунт. Достаточные крестьяне уже не обедали без свежинки; но скоро стали заме- чать, что от мясной пищи прибавляются больные, и стали ее опасаться.

Великолепен был вид зимней природы. Мороз выжал влажность из древесных сучьев и стволов, и кусты и деревья, даже камыши и высокие травы опушились блестящим инеем, по которому безвредно скользили солнечные

лучи, осыпая их только холодным блеском алмазных огней. Красны, ясны и тихи стояли короткие зимние дни, похожие, как две капли воды, один на другой, а как-то невесело, беспокойно становилось на душе, да и народ приуныл. Болезни, безветрие, бесснежие, и впереди бескормица для скота. Как тут не приуныть? Все молились о снеге, как летом о дожде, и вот, наконец, пошли косички по небу, мороз начал сдавать, померкла ясность синего неба, потянул западный ветер, и пухлая белая туча, незаметно надвигаясь, заволокла со всех сторон горизонт. Как будто сделав свое дело, ветер опять утих, и благодатный снег начал прямо, медленно, большими клочьями опускаться на землю. Радостно смотрели крестьяне на порхающие в воздухе пушистые снежинки, которые, сначала порхая и кружась, опускались на землю. Снег начал идти с деревенского раннего обеда, шел беспрестанно, час от часу гуще и сильнее. Я всегда любил смотреть на тихое падение или опущение снега. Чтобы вполне насладиться этой картиной, я вышел в поле, и чудное зрелище представилось глазам моим: все безгра-

ничное пространство вокруг меня представляло вид снежного потока, будто небеса разверзлись, рассыпались снежным пухом и наполнили весь воздух движением и поразительной тишиной. Наступали длинные зимние сумерки; падающий снег начинал закрывать все предметы и белым мраком одевал землю.

Хотя мне, как страстному ружейному охотнику, мелкоснежье было выгодно и стрельба тетеревов с подъезда, несмотря на стужу, была удобна и добычлива, но, видя общее уныние и сочувствуя общему желанию, я также радовался снегу. Я воротился домой, но не в душную комнату, а в сад и с наслаждением ходил по дорожкам, осыпaeмый снежными хлопьями. Засветились огоньки в крестьянских избах, и бледные лучи легли поперек улицы; предметы смешались, утонули в потемневшем воздухе. Я вошел в дом, но и там долго стоял у окошка, стоял до тех пор, покуда уже нельзя было различить опускающихся снежинок... «Какая пороша будет завтра, — подумал я, — если снег к утру перестанет идти, где малик — там и русак...» И охотничьи

заботы и мечты овладели моим воображением. Я особенно любил следить русаков, которых множество водилось по горам и оврагам, около хлебных крестьянских гумен. Я с вечера приготовил все охотничьи припасы и снаряды; несколько раз выбегал посмотреть, идет ли снег, и убедясь, что он идет по-прежнему, так же сильно и тихо, так же ровно устилая землю, с приятными надеждами лег спать. Длинна зимняя ночь, и особенно в деревне, где ложатся рано: бока пролежишь, дожидаясь белого дня. Я всегда просыпался часа за два до зари и любил встречать без свечи зимний рассвет. В этот день я проснулся еще ранее и сейчас пошел узнать, что делается на дворе. На дворе была совершенная тишина. Воздух стал мягок, и, несмотря на двенадцатиградусный мороз, мне показалось тепло. Высыпались снежные тучи, и только изредка какие-то запоздавшие снежинки падали мне на лицо. В деревне давно проснулась жизнь; во всех избах светились огоньки и топились печи, а на гумнах, при свете пылающей соломы, молотили хлеб. Гул речей и стук цепов с ближних овинов долетал до моего слуха. Я за-

смотрелся, заслушался и не скоро воротился в свою теплую комнату. Я сел против окошка на восток и стал дожидаться света; долго нельзя было заметить никакой перемены. Наконец, показалась особенная белизна в окнах, побелела изразцовая печка, и обозначился у стены шкаф с книгами, которого до тех пор нельзя было различить. В другой комнате, дверь в которую была отворена, уже топилась печка. Гудя и потрескивая и похлопывая за-слонкой, она освещала дверь и половину горницы каким-то веселым, отрадным и гостеприимным светом. Но белый день вступал в свои права, и освещение от топящейся печки постепенно исчезало. Как хорошо, как сладко было на душе! Спокойно, тихо и светло! Какие-то неясные, полные неги, теплые мечты наполняли душу...

«Лошади готовы: пора, сударь, ехать!» — раздался голос Григорья Васильева, моего товарища по охоте и такого же страстного охотника, как я. Этот голос возвратил меня к действительности. Разлетелись сладкие грезы! Русачьи малики зарябили перед моими глазами. Я поспешно схватил со стены мое люби-

мое ружье, моего неизменного испанца...

*Москва, 1858, декабрь.*

# ПРИМЕЧАНИЯ

## БУРАН

Этот небольшой очерк, появившийся впервые без подписи автора в альманахе «Денница» на 1834 г. (М. 1834, стр. 191–207), представляет существенную веху в творческой биографии Аксакова. Он как бы знаменовал рождение в нем крупного художника-реалиста и открывал прямую дорогу к «Семейной хронике» и «Детским годам Багрова-внука».

Хотя очерк был датирован Аксаковым 1834 г., но, по-видимому, он был написан во второй половине предшествующего года. Цензурное разрешение «Денницы» помечено 24 октября 1833 г. Можно предполагать, что замысел этого очерка возник у Аксакова задолго до того, как он был воплощен. В рукописном отделе Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина хранится объемистая тетрадь Аксакова под названием: «Книга для всякой всячины. 1815 года сентября 28 дня. Москва». «Книга» содержит в себе множество деловых записей Аксакова, стихов, на-



бросков статей и прозаических отрывков, черновиков писем к различным корреспондентам и проч. Некоторые из материалов датированы между 1815 и 1824 гг. В этой «Книге» имеется вкладыш — два листка почтовой бумаги, представляющие собой крайне неразборчиво написанный рукой Аксакова черновик стихотворения. Оно рисует картину снежного бурана в степи и являет собой, очевидно, не что иное, как первоначальную попытку воплощения замысла, который впоследствии принял форму очерка «Буран». По некоторым особенностям почерка можно предположить, что стихотворение относится ко второй половине или к концу 20-х гг. Приводим его текст:

*Сияет солнце, воздух тих;  
Недвижимы дерев вершины,  
Спокойны снежные пучины;  
Алмазный блеск горит на них  
И ослепляет взор прельщенный;  
Здоровый холод всех живит,  
Тащась дорогой искривленной,  
Обозный весело бежит.  
Уж солнце полдень протекает  
И зимний вечер недалек,*

Как вдруг от севера взывает  
Порой прерывный ветерок.  
Хоть солнце все еще сияет  
И чист небес лазурный вид,  
Но под ногами закипает,  
И поле струйками бежит.  
Знакомы с бедами обозы  
Поспешно ускоряют бег,  
Зимы свирепы зная грозы,  
Спешат укрыться на ночлег.  
И горе, горе запоздавшим  
И ночь встречающим в полях,  
Опасностей не испытавшим  
В безлюдных и степных местах.  
И вскоре туча снеговая  
С заката кроет небосклон,  
И ветр пустынный, завывая,  
Взрывает степь со всех сторон.  
Земля смешалась с небесами,  
Бушует снежный океан,  
Все белый мрак одел крылами,  
Настигла ночь, настал буран!  
Свистит, шипит, ревет, взывает.  
То вниз, то вверх вертит стол-  
бом,  
Слепит глаза и удушает  
Кипящий снежный прах кругом.

(Л. Б., ГАИС Ш. VII/I).

В следующих десяти строках стихотворения поддаются прочтению только отдельные слова. Основная часть черновика расшифрована нами совместно с К. В. Пигаревым.

В 1858 г. «Буран» был перепечатан автором в его книге «Разные сочинения», в разделе «Мелкие пиесы» (М. 1858, стр. 329–344) и сопровождается «Вступлением». Текст печатается по этому изданию.

Стр. 397. ...*почтенный критик «Русской беседы»* — Н. П. Гиляров-Платонов, автор напечатанной в журнале «Русская беседа» (1856, кн. I, за подписью: Н. Г—в) статьи о книге Аксакова «Семейная хроника и Воспоминания».

Стр. 399. *Максимович* Михаил Александрович (1804–1873) — выдающийся этнограф и историк, профессор ботаники Московского университета, а затем профессор русской словесности Киевского университета и его ректор; был в дружеских отношениях с Аксаковым.

Стр. 400. *Полевой* Николай Алексеевич

(1796–1846) — журналист, критик, беллетрист, драматург, историк; в 1825–1834 гг. издавал журнал «Московский телеграф»; в конце 30-х гг. эволюционировал вправо и перешел вскоре в лагерь реакции; к Аксакову относился враждебно.

**Отзыв «Телеграфа».** — Имеется в виду напечатанная в «Московском телеграфе» (1834, № 1) статья-обзор «Новые книги», подписанная инициалами К. П. — Ксенофонтом Полевым, братом издателя журнала. В абзаце, посвященном выходу в свет альманаха «Денница» на 1834 г., было сказано следующее: «Буран. Мастерское описание бури в степях оренбургских. Если и это отрывок из романа, то мы поздравляем публику с романом, обещающим много хорошего».

## **ОТРЫВОК ИЗ СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ**

В своей автобиографической трилогии С. Т. Аксаков воссоздал историю трех поколений Багровых — Аксаковых. Чем ближе становились изображаемые события, тем большие затруднения испытывал писатель, честная и

правдивая летопись которого вызывала сильное сопротивление со стороны членов его семьи. Есть немало оснований предполагать, что Аксаков первоначально имел в виду довести свою поэтическую летопись до событий гораздо более поздних, чем это им было сделано. Летом 1856 г., уже после издания «Семейной хроники» отдельной книгой, он писал своему знакомому, оренбургскому губернатору Е. И. Барановскому: «Далее писать было невозможно: я и так был уже очень стеснен близостью ко мне описываемых событий» (ЦГАЛИ, ф. 884, оп. 1, д. № 38, л. 2).

Настоящий «Отрывок из семейной хроники» свидетельствует о том, сколь серьезно было намерение Аксакова расширить рамки своего повествования и ввести в него даже события, связанные с четвертым поколением Аксаковых — т. е. детей писателя. «Отрывок» рассказывает о некоторых эпизодах детства и юности второго сына Сергея Тимофеевича — Григория Сергеевича (1820–1891), воспитанника Петербургского училища правоведения, впоследствии оренбургского и самарского губернатора.

В 1848 г. Г. С. Аксаков женился на С. А. Шишковой. Незадолго перед тем, в 1847 г., С. Т. Аксаков подарил будущей невестке альбом и записал в него настоящий «Отрывок». Альбом открывался собственноручной записью С. Т. Аксакова: «Всякий клочок бумаги долговечнее самой долгой человеческой жизни. Ты сохранишь эти листы, милая Софья, и они сохранят тебе живое воспоминание прошедшего. С. Аксаков, 1847, декабря 27. Москва». Этот альбом хранится ныне в архивном фонде музея «Абрамцево». «Отрывок» был обнаружен в 1925 г. С. Н. Дурылиным и опубликован им в журнале «Огонек», 1939, № 18 (669).

Некоторые неточности, вкравшиеся в печатный текст, мы исправляем по рукописи.

Первоначальное желание Аксакова продолжить работу над «Семейной хроникой» не было тайной для его близких друзей. Небезынтересно отметить, что после смерти писателя М. П. Погодин пытался уговорить членов его семьи, чтобы они «продолжали» «Семейную хронику», имея, вероятно, в виду, что будет при этом использован не только материал их собственных наблюдений, но и

черновые заготовки самого покойного писателя, которые могли сохраниться. Погодин писал: «Вот об чем я давно думал: вам надо продолжать «Семейную хронику» — хоть для себя, для семейства, для рода. Ольга Семеновна пусть рассказывает события со всеми действующими лицами, а барышни пусть записывают на листах, перегибая пополам, чтобы после можно было вставлять, исправлять и т. п. Можно расположить описание по лицам или по событиям, корректурно. После обозначится, как лучше. Например, начать бы с Софьи Николаевны: как постепенно и почему переменялись чувствования, происходило охлаждение и т. п. Браки Надежды Тимофеевны и проч. Подумайте хорошенько об этом...» (Абрамцево, Рук. 11).

Из этой затеи ничего, разумеется, не вышло.

Стр. 406. **Весь в Неклюдовщину.** — Дед С. Т. Аксакова был женат на И. В. Неклюдовой и крайне не симпатизировал ее родне, которую иронически называл «Неклюдовщиной».

Стр. 409. **Томашевский** Антон Францевич

(1803–1883) — приятель Аксакова, чиновник Московского почтамта, цензор, литератор.

## НАТАША

С. Т. Аксаков начал писать эту повесть летом 1856 г. Она осталась незаконченной.

В 1886 г. в Полном собрании сочинений С. Т. Аксакова «Наташе» было предпослано предисловие И. С. Аксакова, в котором он писал: «В настоящее время нет уже более надобности скрывать, что эта повесть не вымысел и составляет один из эпизодов «Семейной хроники». *Болдухины* — те же Багровы, или те же Аксаковы, родители автора; *Василий Петрович* — он же Алексей Степанович, описанный в «Женитьбе моего отца» (т. е. «Женитьбе молодого Багрова». — С. М.) и в «Детских годах», он же и *Тимофей Степанович*, упоминаемый в тех рассказах, где автор уже снимает с себя псевдоним «Багрова». *Варвара Михайловна Болдухина* — та же Софья Николаевна и Марья Николаевна, которой образ с такою любовью воспроизведен ее сыном в «Семейной хронике» и в описании «Годов в гимназии»;



для читателя небезынтересно в предлагаемой повести встретиться с этой замечательной женщиной уже в более зрелом возрасте, проследить дальнейшее развитие ее характера. «Наташа» — та самая «сестрица Наташинька», или «Надежинька», с которою уже знакомы читатели по прежним сочинениям автора. Ее женихи: *Солобуев* — сын владельца богатых чугунных заводов Вятской губ. Мосолов, а *Шатов* — Шишков, помещик Бузулукского уезда, Самарской, тогда еще Симбирской, губернии.

Рассказ Сергея Тимофеевича прерывается на том, как Шатов, уже получивший согласие 16-летней Наташи и ее родителей, уже объявленный женихом, при более близком знакомстве становится все менее и менее симпатичен невесте, и смущение начинает овладевать душою молодой девушки. Мы можем досказать эту историю: свадьба расстроилась, и Наташа, или Надежда Тимофеевна, вышла замуж за Солобуева, т. е. Мосолова. Но это замужество продолжалось недолго: года через четыре он умер, а потом года через два молодая вдова вышла в 1817 г. замуж за известного чи-

тателям «Семейной хроники» и «Воспоминаний» умного и образованного Григ. Ив. Карташевского, который был сначала воспитателем С. Т—ча в Казани, затем профессором в Казанском университете... Кажется, в намерении автора было рассказать замужество «Наташи» с «Солобуевым» и изобразить всю отвратительную картину семейных нравов в среде богатых помещиков — заводчиков Вятской губернии в начале нынешнего века, материалом для чего, кроме личных воспоминаний Сергея Тимофеевича, должны были служить и «Воспоминания», написанные нарочно, по его просьбе, самую «Наташею», или Н. Карташевской, уже в 1858 г. (С. Т. Аксаков, Полн. собр. соч., т. III, СПб. 1886, стр. 1–2).

Упоминаемая И. С. Аксаковым рукопись Н. Т. Карташевской хранится в ИРЛИ, ф. 3, оп. 11, д. № 6. Рукопись называется «Наташа» и имеет подзаголовок: «Истинное происшествие (1811–1814). Действие происходит в Оренбургской и Вятской губернии».

Знакомство с рукописью Н. Т. Карташевской дает возможность предположительно судить о том, почему Аксаков не использовал

рассказ сестры и не закончил повесть.

В рассказе Карташевской Наташа, выйдя замуж, попала в «недоброе семейство», до крайней степени развращенное богатством. Сам старик, добрый и горячо любивший Наташу человек, умер еще до свадьбы сына. Дочери его и их мужья представляли собою людей, в которых стремление к богатству уничтожило все человеческие чувства. Смерть мужа Наташи, не злого, но легкомысленного и избалованного человека, произошла при каких-то странных обстоятельствах. После его смерти вокруг Наташи начинается дикая борьба родственников за наследство, сопровождаемая обманом, воровством и вымогательством. «Деньгами воспользовались все, кроме Наташи, которая не получила своей законной части и не жалела об этом. На деньгах лежало какое-то проклятие: к кому они ни доходили, всякого постигало несчастье». Так заканчивается рассказ Карташевской.

Можно полагать, что если бы Аксаков воспользовался этим материалом, его произведение оказалось бы по духу своему близким к

знаменитой главе о Куролесове из «Семейной хроники».

Но в процессе работы над повестью писатель столкнулся с теми же трудностями, какие он испытывал, когда писал «Семейную хронику». Речь идет о знакомой нам «оппозиции» со стороны некоторых членов семьи Аксакова, препятствовавших обнародованию многих автобиографических фактов, которые, по их мнению, могли бы бросить тень на всю семью. Еще в январе 1855 г., жалуясь своей племяннице М. Г. Карташевской на неимоверные трудности, которые приходится преодолевать в работе над «Семейной хроникой», Аксаков, в частности, подчеркивал «сильную оппозицию» со стороны ее матери, т. е. родной сестры писателя — Надежды Тимофеевны Карташевской. С грустной иронией писал тогда Аксаков, что хронику о дедушке и бабушке его сестра вытерпела, но когда дело дойдет до отца с матерью, да еще до мужа и до нее самой — то неизвестно, «что будет делать братец Сереженька с сестрицей Надеженькой» (ИРЛИ, 10. 685/XVI с., л. 43).

С повестью «Наташа» дело обстояло еще

более серьезно. Героиней задуманного произведения должна была стать сама Надежда Тимофеевна Аксакова-Карташевская. 17 сентября 1856 г. С. Т. Аксаков с горечью писал сыну Ивану: «Ты прав, милый друг, «Наташа» возбудила бы больше сочувствия и самого меня заняла бы сильнее, но я прихожу в отчаяние от невозможности написать ее. Правды говорить нельзя, а всякая ложь расхолодит мое воображение, и все дело мне опротивит. Я ничего не могу выдумывать: к выдуманному у меня не лежит душа, я не могу принимать в нем живого участия, мне даже кажется это смешно, и я уверен, что выдуманная мною повесть будет пошлее, чем у наших повествователей. Это моя особенность и в моих глазах показывает крайнюю односторонность моего дарования» (Л. Б., ГАИС, III/22 д).

Указанными обстоятельствами, видимо, и объясняется то, что повесть «Наташа» осталась незаконченной.

При жизни Аксакова были опубликованы лишь отдельные ее фрагменты. «Отрывок из очерков помещичьего быта 1800 годов» появился в 1857 г. в газете «Молва» (№ 1, стр. 3–4,

и № 3, стр. 30–32). В марте 1859 г., за месяц до смерти писателя, другой отрывок из повести был прочтен его сыном Константином в публичном заседании Общества любителей российской словесности. В 1860 г., уже после смерти Аксакова, он был напечатан под названием «Отрывок из повести «Наташа» в журнале «Русская беседа» (т. II, стр. 1–20). И, наконец, полный текст повести увидел свет лишь в 1868 г. на страницах «Русского архива» (№№ 4 и 5, стр. 529–584) под заглавием «Очерки помещичьего быта в начале нынешнего века». Текст этого издания воспроизводится в настоящем собрании с исправлением нескольких явных опечаток.

## **КОПЫТЬЕВ**

Отрывок из повести впервые опубликован в газете «День», 1863, № 1, издателем и редактором этой газеты, сыном писателя — Иваном Аксаковым. Текст печатается по этому изданию.

Как известно, все произведения Аксакова написаны на автобиографическом материале.

У него нет ни одного сочинения, которое было бы основано на «чистом вымысле». В этом своеобразии его таланта, или, как он говорил, его «авторская тайна». В 1857 г. Аксаков писал Ф. В. Чижову: «Заменить... действительность вымыслом я не в состоянии. Я пробовал несколько раз писать вымышленные происшествия и вымышленных людей. Выходила совершенная дрянь, и мне самому становилось смешно» (Л. Б., ф. Чижова, 15/16).

Лишь в самые последние годы жизни Аксакову стало тесно в границах автобиографического жанра. Он словно наконец почувствовал себя профессиональным писателем, и его потянуло в свободный мир художественного вымысла.

Опубликованный на страницах газеты «День» отрывок из повести «Копытьев» подтверждает этот вывод.

Повесть датирована 1857 годом. Она, очевидно, осталась незаконченной. В последние годы Аксаков тяжело и подолгу болел. Почти слепой, он не мог уже сам писать и вынужден был диктовать свои сочинения кому-нибудь из членов семьи.

«Копытьев» написан в характерной для Аксакова манере изустного рассказа. В повести как бы не ощущаешь формы. Прозрачная по языку и безыскусная по стилю, она напоминает лучшие, классические страницы аксаковской прозы. По-видимому, Аксаков задумал обширное произведение. То, что он успел написать, можно полагать, — лишь самое начало повести. Здесь сюжет еще только завязывается. Но выразительность и пластичность письма позволяют читателю даже на этих немногих страницах почувствовать характер главного героя повести, оценить всю прелесть и очарование художественного дарования Аксакова.

## **ОЧЕРК ЗИМНЕГО ДНЯ**

Это последнее произведение С. Т. Аксакова, «диктованное им, — по словам его сына Ивана, — на одре мучительной болезни, за четыре месяца до кончины» (С. Т. Аксаков, Семейная хроника и Воспоминания, изд. 4, М. 1870, Предуведомление, стр. II). Очерк датирован декабрем 1858 г. Он был предназначен авто-



ром для газеты «Русский дневник», которую начинал издавать бывший студент Казанского университета П. И. Мельников, и в первом же номере этой газеты за 1859 г. появился в свет. Воспроизводится текст этого издания.

Стр. 465. **Малик** — заячий след на снегу.  
*С. Машинский*

# Note1

В первой книге «Русской беседы» 1856 года.

[^^^]

## Note2

Занесенный снегом обоз стоял на дороге, и на него нельзя было не наехать новому обозу. Оглобли нарочно поднимаются вверх для того, чтоб всякий проезжий их увидел. Так обыкновенно поступают крестьяне, застигнутые бураном в степи в ночное время.

[^^^]

# Note3

Так называются один или два двора, поселенных на степной дороге для ночевки или кормежки обозов.

[^^^]

## Note4

Илецк было поставлено тогда для отвода подозрений г. Полевого. Но теперь мне кажется, что это могло скорее возбудить их. Без излишнего самолюбия можно сказать, что нельзя была ожидать статьи, так написанной, из Илецка. Позднейш. примеч. С. А.

[^^^]

# Note5

Дитя мое (франц.).

[^^^]

# Note6

Воплощение приветливости (франц.).

[^^^]